

А. МОНДЖИЛИ\* (Италия)

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАУКОВЕДЕНИЯ: СЛУЧАЙ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

От редакции

*Предлагаемая вниманию читателей статья А. Монджили представляет собой реферат его диссертационной работы на соискание степени доктора философии, успешно защищенной в 1993 г. в Париже. Довольно обширная диссертация [1], выполненная в парадигме так называемых «полевых исследований науки», была подарена автором Институту и находится в библиотеке ИИЕТ, где каждый желающий может с ней ознакомиться.*

*Работа А. Монджили написана по-французски; по просьбе редакции ВИЕТ и с согласия автора реферат на русском языке был подготовлен И. Е. Сироткиной.*

*Для сотрудников ИИЕТ это своеобразное исследование о них самих представляет особый интерес, ибо в какой-то степени позволяет увидеть и понять, как наше историко-научное сообщество и его ежедневная обыденная работа выглядят «со стороны», когда наблюдатель — доброжелательный, но старающийся быть подчеркнуто беспристрастным — сознательно отстраняет себя от происходящего и фиксирует, как он считает, «факты, только факты и ничего, кроме фактов».*

*Другое дело, примет ли наше научное сообщество предлагаемые автором интерпретации увиденных персонажей, обычаев и событий институтской жизни. На первый взгляд, вероятно, нарисованная картина покажется собранием анекдотов и пародий или карикатурным изображением серьезных проблем. Однако нам кажется, что читатели могут по достоинству оценить кропотливую работу молодого исследователя, хотя, безусловно, некоторые из его наблюдений нельзя воспринимать должным образом без чувства юмора.*



Алессандро Монджили

Во время работы над диссертацией *laurea*, посвященной Академии наук в СССР, я встретил некую дисциплину, называемую науковедением. Эта дисциплина, напоминающая западные исследования науки, отличалась от них, во-первых, тем, что воздерживалась от собственного философского анализа научных феноменов. Она претендовала на то, чтобы быть междисциплинарным подходом к науке — общему объекту нескольких дисциплин — и всецело разделяла взгляды на роль науки, принятые в идеологии и культуре 1970-х. Наконец, она хотела быть эмпирической дисциплиной, но не была таковой, ибо целый набор методов, типичных для западных эмпирических исследований, — опросы, анализ данных и т. п. —

\* Я приношу глубокую благодарность Институту истории естествознания и техники, его Санкт-Петербургскому филиалу, Центру исследований научно-технического потенциала и истории науки АН Украины и Президиуму РАН за помощь в организации моего пребывания и моей работы в СССР. Я очень признателен всем, кто непосредственно участвовал в моем исследовании — в качестве интервьюируемых или наблюдаемых, — а также всем, высказавшим замечания в адрес моей работы.

были ей неизвестны. Можно было бы подумать, что науковедение — блеф, не более чем идеологический дискурс, — однако его тексты были отмечены рядом достоинств. К тому же науковедение создавало единственное в СССР пространство, где могли проводиться исследования современной науки. Физический центр этого пространства находился в Институте истории естествознания и техники АН СССР в Москве.

Этот институт и само науковедение, по-видимому, возникли, давая прибежище московским интеллектуалам высокого уровня. Однако примерно с 1979 г., после нескольких беспоконных статей лидера этой дисциплины количество текстов, относившихся к науковедению, стало уменьшаться, а в институте и журнале, публикующем большинство статей на эту тему, происходило нечто непонятное; наконец, в 1986 г. С. Р. Микулинский, основатель дисциплины, ушел в отставку без объяснений. Однако продолжали выходить новые книги...

Мне показалось, что настало время перейти от анализа текстов к анализу контекста. Возможность для полевого исследования представилась зимой 1988—89 гг. После периода адаптации и полуофициального знакомства с различными институтскими структурами моя работа пошла в двух направлениях. Во-первых, речь шла о том, чтобы посещать и регистрировать все примечательные события в жизни института, как-то: собрания, семинары, конференции, защиты диссертаций, выборы, праздники, встречи и т. п., а также наблюдать физическое пространство, где все это происходило: его обстановку, объявления, стенные газеты, библиотеку, витрины и таблицы, грамоты и дипломы, развешанные по стенам, формы приветствий, принятые между сотрудниками, их жесты, манеру одеваться, проявляемые или скрывающиеся интересы, манеру, с которой они дискутировали и спорили, говорили о своей работе, распространяли информацию и т. д.

Второе направление полевой работы заключалось в проведении заранее спланированных интервью, в которых я останавливал внимание собеседника на ключевых моментах научной жизни: карьере, публикациях, образовании и т. п. Исследование проводилось не только в Москве, но и — в меньших масштабах — в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) отделении института и Центре исследований научно-технического потенциала и истории науки АН Украины в Киеве.

Зима 1988—89 гг. была последней для традиционной советской системы, т. к. в мае 1989 г. выборы в Верховный Совет народных депутатов изменили политическую ситуацию, а в 1991—92 гг. вся социально-экономическая система претерпела радикальные изменения. Той же зимой все еще оставалось по-старому, если не считать того, что в условиях гласности стали складываться новые представления об обществе, жизни, работе. Я спешил: если бы тогда Горбачев был заменен людьми вроде Янаева, все могло бы повернуться вспять, и институт, куда я пошел благодаря демократическим нововведениям, был бы для меня закрыт. Случай позволил мне исследовать исчезнувший в наши дни «объект», так как в том виде, в каком институт существовал в советский период, его уже нет.

Я вполне отдаю себе отчет в том, что история и содержание дисциплины *науковедение* было заменено в моем исследовании историей и культурой тех, кто создавал эту дисциплину и занимался ею. И хотя эта работа написана иностранцем, я верю, что взгляд извне может быть полезным и для тех, кто, являясь частью описанной здесь культуры, одновременно изучает ее. По крайней мере, я на это надеюсь.

## 1. ИНСТИТУТ

### Из истории Института истории естествознания и техники АН СССР

Во многом социальная история нашего института повторяет историю нашей страны.

Да, наш институт — скандальный.

*Из интервью*

ИИЕТ имеет сложную историю, восходящую к тем временам, когда, пытаясь планировать развитие науки, стали искать ее закономерности. Институт был рожден в марте 1932 г. из слияния академической Комиссии по истории знаний и Кабинета естественной истории при Коммунистической академии социальных наук. Его первым директором был Н. И. Бухарин. Он и Б. И. Гессен участвовали в Лондонском конгрессе по истории науки, где в своем докладе Гессен предложил экстерналистский подход к анализу механики Ньютона, ставший классическим для этой области. Из этих корней вырос первый журнал по науковедению — «Социалистическая реконструкция и наука», более известный под аббревиатурой СОПЕНА. Инс-

титут сильно пострадал в период сталинских репрессий в 1938 г., но был воссоздан в 1945 г. под руководством президента Академии наук В. Л. Комарова; он стал «придворным» институтом Академии, а его продукцией были главным образом биографии русских ученых. В конце 1950-х гг., однако, такой подход к истории науки был раскритикован тогдашним директором Н. А. Фигуровским. Б. М. Кедров, директор с 1969 г., был настоящим научным лидером — он пропагандировал интерналистскую точку зрения на историю науки и ввел исследования, посвященные западной науке (Эйнштейну, Бору и Галилею). В этот период здесь работал цвет философской интеллигенции Москвы.

Со второй половины 1960-х гг., под влиянием американской *science of science* (прежде всего, работ Дерекса де Солла Прайса), а также польского *naukoznawstwa*, начинается история науковедения в ИИЕТ. Решающий импульс ему был дан экс-директором Б. М. Кедровым и его преемником С. Р. Микулинским. Науковедение создавалось в качестве дисциплины, которая, благодаря использованию точных количественных методов, дала бы, во-первых, рамку мультидисциплинарным исследованиям научной деятельности и, во-вторых, научное обоснование планированию в области науки (в эпоху идеологии «социального планирования» использование в социологии математических и статистических методов было, наконец, легитимизировано).

С. Р. Микулинского знавшие его сотрудники института представляют как человека, имевшего связи с властью (в ЦК КПСС), которой он обещал создание критериев оценки и проведение «более обоснованной» научной политики. Руководителем он был неоднозначным: в 1960-е гг. не боялся пригласить в институт «еретиков»; позже, когда в изменившейся политической ситуации он приобрел полный контроль над институтом, эти люди вынуждены были уйти. Микулинский способствовал росту ИИЕТ, открыв в нем третий отдел — науковедения, которым сам и руководил, и куда пригласил много новых сотрудников. Свою задачу науковеды видели в развитии «прикладной» дисциплины. Однако проект науковедения никогда не был конкретизирован. Слабость его заключалась в невозможности получить статистические сведения о науке (так как полной статистической информации просто не существовало, а имевшаяся была, по большей части, недоступна), а также в невозможности свободно теоретизировать, отвечая на вопросы о природе науки. Что-то вроде научной дипломатии заставляло обходить вопросы философии науки и идеологии марксизма-ленинизма, а также избегать методов западной социологии. Другой слабой стороной проекта науковедения было отсутствие научного лидера: Микулинский получил этот титул, скорее, по политическим мо-



Москва, Биржевая площадь. Начало XX в. В центре снимка — здание с башенкой на углу Богоявленского и Старопанского переулков, в котором ныне располагается ИИЕТ. Фото предоставлено иконотекой ИИЕТ РАН

тивам. В итоге науковедение, не выдавая существенных научных результатов, выполняло роль легитимного пространства для эмпирических исследований науки. Фигура науковеда также была двойственной: с одной стороны, это были участники «прикладного» проекта, который предполагал политическое и административное использование работ; с другой — многие науковеды были уважаемыми в среде интеллигенции учеными; занимаясь теоретически и методологическими исследованиями и не будучи сами заинтересованы в этой дисциплине, они тем не менее придавали ей «научность».

В 1970-е гг. можно было наблюдать рождение ряда исследований, официально связанных с науковедением, но фактически являвшихся частью других дисциплинарных проектов. Речь идет о наукометрии, психологии научной деятельности, социологии науки (исследование неформальных коммуникаций и разработка критериев научной продуктивности) и системных исследованиях (которые «осмелились» предложить иную, чем марксистско-ленинская философия, концептуальную рамку исследований науки). К концу 1970-х гг. власть, представленная отделом науки ЦК и ГКНТ, начала сокращать финансирование работ по науковедению в пользу системных исследований, ведущихся в отдельном академическом институте (туда был переведен в 1976 г. один из секторов ИИЕТ). В 1982 г. ежегодный сборник по науковедению «Проблемы деятельности ученых и научных коллективов» перестал выходить. То, что науковедение следовало своему курсу, вместо того чтобы давать полезные для власти результаты, обусловило его крах в глазах официальных руководителей. Микулинский писал, как разочарованный отец, о том, что без возможности прикладного использования науковедение рискует «превратиться... в пустую интеллектуальную игру»; «задача сейчас состоит в том, чтобы поднять исследования по науковедению до такого уровня, чтобы они могли служить теоретической и методологической основой для руководства процессом развития науки, для разработки практических мер, ведущих к повышению экономической, социальной и культурной эффективности научной деятельности. Ведь именно в этом в конечном счете смысл и назначение науковедческих исследований» [2, с. 6].

Заместитель директора С. Г. Кара-Мурза, имевший репутацию ученого-эмпирика, выступил в 1985 г. против «псевдонаучного оправдания» государственной политики науки. Его проект, без сомнения, больше соответствовал периоду перестройки. В 1986 г. Микулинский ушел в отставку. А после перехода ведущих философов в Институт философии АН СССР ИИЕТ, формально сохраняя три отдела — истории естествознания, истории техники и науковедения, — вновь вернулся к исследованиям почти исключительно в области истории. Таким образом, его недавнее прошлое можно представить в виде последовательности: история (1950—60-е гг.) — философия (1960—70-е гг.) — науковедение (1970—80-е гг.) — кризис (1980-е гг.) — история (1990-е гг.).

## Место

Нам надо, чтобы наука у нас действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом.

*В. И. Ленин  
(Надпись на одной из главных стен в ИИЕТ)*

Цитата из Ленина? Какая? На какой стене? О чем ты говоришь?

*Из интервью*

ИИЕТ занимает этаж здания, построенного в конце века в Китай-городе, точнее, дом номер 1/5 по Старопанскому переулку. Кроме института, в здании находятся издательство «Русский язык» и журнал «Гражданская авиация». Помещение, занимаемое ИИЕТ, имеет U-образную форму; в одном крыле располагаются сектор истории физики, бухгалтерия, редакция журнала «Вопросы истории естествознания и техники», малый зал заседаний, сектор истории математики и др. В другом крыле находятся помещения дирекции с цитатами из Ленина на соседней стене, библиотека, партбюро, профбюро и остальные сектора. На повороте коридора, перед входом в большой зал заседаний, помещается доска с надписью «Перестройка, демократизация, гласность», на которую вывешиваются наиболее интересные газетные статьи, главным образом на политические темы. Столовая института находится на 4-м этаже, в помещении редакции журнала «Гражданская авиация».

Основную административную единицу института образует «сектор» — группа исследователей во главе с заведующим, ведущая работу, скоординированную в своей теоретической части с работой других групп. Но организационная схема взаимодействия не всегда превращается в реальность, и подчас сектора оказываются одиночками или же находятся в конфронта-

ции один с другим. Внутри секторов можно наблюдать разные типы взаимодействия между исследователями: в одних (как, например, в секторе психологии науки) ведется коллегиальная работа — ученики разрабатывают тематику и терминологию мэтра, и все их тексты имеют общую марку. Мебель в этом секторе отражает иерархические отношения: кресло-трон во главе длинного стола занимает руководитель, по бокам рассаживаются сотрудники, не имеющие собственных рабочих мест. В секторе организации науки, напротив, место заведующего ничем не выделяется из остальных. В этом секторе сотрудники (в подавляющем большинстве это женщины) работают каждый над индивидуальной темой, причем темы достаточно различны, например: отношения России и Франции в конце XIX в., Вернадский и советская наука, рентабельность научных организаций, научная инфраструктура. Общие ссылки в их работах достаточно случайны. Между этими двумя крайностями — сектор как организационное отражение «научной школы» и как чисто административные рамки для разнородной группы исследователей — можно встретить разнообразие положений. Так, например, существуют группы, участие в которых продиктовано общими интересами, но без отношений «учитель—ученики» и без методологической или философской общности. Выбор руководителя в них не совпадает с научным лидерством. Обычно в них признан авторитет старших сотрудников, которые становятся руководителями и влияние которых сводится к административному.

Институт, таким образом, предстает как место встреч и общения, публичные пространства которого отмечены идеологическими знаками: свидетельствами активности института (его продукция), символической современной идеологии и знаками деятельности его сотрудников (такими, как портрет Кедрова в секторе, который он возглавлял, многочисленные дипло-



*Старопанский переулок, д. 1/5. Здание, в котором располагается ИИЕТ. Фото 1994 г.*

мы и грамоты в секторе психологии науки). Как воспринимают это место сами сотрудники? Часто то, что видит иностранец, остается незамеченным сотрудниками, — как, например, ленинский лозунг, написанный огромными буквами, воспринимается не более отчетливо, чем какая-нибудь «Anatomia clavus et clavis medicinae», выгравированная иногда в университетских аудиториях, где преподается курс анатомии. Значение этих знаков стерлось. В основном об институтском помещении отзываются как о недостаточном для нормальной работы — несмотря на то, что культура советской науки в целом довольно спартанская, и «практической» стороной принято пренебрегать, выдвигая на первое место ценность «самопожертвования». Это выражается, в частности, в невзыскательности обстановки, сочетающейся с транспарантами огромных размеров, призами и грамотами на стенах — тем, что принято считать оформлением «серьезных» учреждений.

## Институт как место общения и идентификации

Я прихожу на работу, обсуждаю научные проблемы, пишу статьи, ухожу с работы...

В ИИЕТе я никому не сочувствую.

*Из интервью*

Пребывание в стенах института ограничивается, как правило, двумя присутственными днями, с 14 до 17 часов, причем время, посвященное «чистому общению» — беседам, чаепитию, курению, — довольно велико. Чаепитие в институте — обычай, который невозможно обойти. В отличие от того общения, которое протекает в коридорах и курилках, чаепитие в секторах менее регламентировано официальными нормами и поэтому интересно в символически-нормативном отношении. Обычно за чаем обсуждаются предметы, не связанные с работой: личные проблемы, болезни, отношения полов, политика, ситуация в институте — обо всем говорится очень неформально, на языке обыденной жизни. Здесь распространены уменьшительные имена и неофициальные обращения («ребята», а не «коллеги», как на семинарах). Если к кому-то обращаются «коллега», на «Вы» и по имени-отчеству, то это часто воспринимается как шутка. По поводу праздников и событий устраиваются «расширенные» чаепития, со сладями и шампанским. Темы разговоров за чайным столом показывают закулисную жизнь исследователей, так как институт как место работы не является тотальным учреждением, примером которого в социологии могут быть психиатрическая больница или тюрьма. В отличие от них, исследовательский институт лишь в небольшой степени определяет поведение и идентичность своих членов, являясь эфемерным сообществом, где поддерживается баланс между внутренними и внешними кодами поведения.

С другой стороны, закулисная жизнь освещает то, что происходит «на сцене»: в своих рассказах сотрудники часто отделяют себя от института, в особенности когда речь идет о внутриинститутской борьбе и доминирующих «научных» тенденциях. Они пытаются представить себя изолированными исследователями, которых интересует только наука. Романтический образ научной работы и отказ от идентификации с коллективом в особенности характерен для молодых сотрудников. Тем не менее, их участие в обычаях института и соответствующее поведение в публичных пространствах свидетельствуют о приобщенности к институтскому миру. Самопрезентация исследователей говорит, скорее, о некотором напряжении внутри института. Первичная принадлежность исследователей к институту важна для них еще и тем, что создает причастность к интеллигенции.

Невозможность наблюдать собственно исследовательскую активность связана, главным образом, с тем, что исследование ведется по традиционной модели гуманитарных наук. Обычно исследовательскую работу принято описывать со стороны ее информатизации, или с точки зрения используемых средств, или по ее месту в лаборатории — поэтому, вплоть до приобретения некоторыми секторами компьютеров, ничего из этой традиционной схемы нельзя было наблюдать. Перед наблюдателем институт предстает скорее как место многочисленных коммуникаций, использования языковых или других знаковых систем, чем как место научного производства. Он дает не только юридические и организационные, но и символические рамки научным акциям, таким, например, как семинары. Он же обеспечивает своим членам их идентичность в обществе, как это будет видно при анализе процедуры вхождения в научную профессию.

## Институт и другие; Москва и провинция

Центр — это Москва. Конечно, есть Киев, Прибалтика. Но мне кажется, что уровень тех, кто работает в Москве, всегда бывает чуть выше... Однако если покопать, тоже почему-то обнаруживается большой провинциализм.

Горе тому, у кого нет московских друзей: он не получает приглашения на конференции, не выступает на семинарах, не участвует в школах, не публикуется в московских журналах.

*Из интервью*

ИИЕТ находится в двух системах координат: московской интеллигенции, перед которой он представляет исследование науки, и общенациональной дисциплинарной области. В этой второй сети ИИЕТ — головной союзный институт. Кроме него, существуют два крупных центра в Киеве и Ленинграде и менее крупные — в Вильнюсе, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах. По сравнению с Москвой, на долю которой приходится большая часть (достаточно слабых) связей с границей (в ИИЕТ находится еще и СНОИФЕТ — Советское национальное объединение истории и философии естествознания и техники), в провинции доступ к иностранной литературе еще более затруднен. Асимметрия отношений выражается в приеме Москвой стажеров из провинции.

Отношения с Киевом и Ленинградом более нюансированные: так, например, существование в Киеве независимой школы науковедения вызывает разные реакции. Те, кто более дружен в ИИЕТ связаны с проектом науковедения, воспринимают школу Доброва как образец развития науковедения, другие ее критикуют или игнорируют. Отношения ИИЕТ и Киева долгое время были отмечены борьбой Доброва и Микулинского за лидерство внутри дисциплины. Теперь речь идет о более частых контактах и более равных отношениях, которые выражаются в признании двух самостоятельных школ. Из Ленинграда Москва представляется, прежде всего, городом бюрократическим, где существует опасность потерять традиции старой интеллигенции. В «благородном» Санкт-Петербурге отношения между коллегами более достойные и демократичные, начальство там гораздо более доступно для подчиненных, чем в Москве. Ленинград, похоже, тяготеет своей юридическо-экономической зависимостью от Москвы, «московским гнетом». Москва воспринимается как место, где сосредоточена власть, источники финансирования и информации, в частности связи с границей, где находятся «центральные» издательства, распространяющие свою литературу по всему Союзу.

## 2. КАРЬЕРА И ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

### Подготовка исследователей

Большинство сотрудников ИИЕТ получили образование в области естественных наук. В советских университетах не существует специализации по истории, философии или социологии науки. Период подготовки к исследовательской работе начинается после университета, когда выпускник попадает в стены ИИЕТ — так обстоит дело не только с науковедением, но и с другими дисциплинами. Отсутствие основательной гуманитарной подготовки приводит к недостатку профессионализма, вплоть до того, что сама профессия признается несуществующей: так, один из интервьюируемых исследователей считал, что он занимается историей биологии, такой же дисциплины, как история науки, вообще нет. Слабые знания в эпистемологии приводят к созданию апологетических образов науки; один из них — представление о науке как асоциальном феномене, который можно анализировать с помощью статистико-математических методов и моделей.

Единственный период, когда исследователь может получить подготовку, соответствующую своей профессии, это аспирантура. Зачастую в аспирантуре исследователь не имеет возможности для углубленной философской рефлексии по поводу социальной и когнитивной природы науки, и ему не остается ничего иного, как переносить в науковедение представления о науке, усвоенные во время учебы в университете. Таким парадоксальным образом воплощается пожелание основателей науковедения, которое, по их мнению, должно стать «самосознанием науки».

**Поступление в институт и прием в сообщество исследователей  
(аспирантура и диссертация)**

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.

*Поговорка, распространенная  
в академической среде*

Диссертация была и остается главной проблемой, которую решает целая армия наших философов.

[3, с. 29]

Поступлению в ИИЕТ для молодого исследователя предшествует период аспирантуры, после чего он зачисляется на должность младшего научного сотрудника, даже если не защитил еще свою диссертацию. Для старшего поколения «шестидесятников» большую роль при поступлении в ИИЕТ играли личные знакомства. Напротив, молодые исследователи, получившие университетскую подготовку в «застойные» брежневские годы, реже связаны со старшими сотрудниками ИИЕТ личными контактами.

Тему диссертации определяет, как правило, научный руководитель. Она должна быть «диссертабельной», чему способствует употребление в заголовке таких слов, как «развитие» или «закономерности». В действительности темы диссертаций показывают больше конформизма, чем сам текст. В диссертации иногда видят потенциальную книгу (о чем говорит ее объем — 8 печатных листов), однако промежуток времени, который должен пройти от начала работы до опубликования (5—7 лет), делает усилия по ее написанию неэффективными.

Готовая диссертация должна быть защищена в Ученом совете (в ИИЕТ имеется кандидатский совет, но нет докторского). Защита — это целая церемония с выступлением научного руководителя, чтением отзывов на диссертацию и биографии кандидата, обсуждением, голосованием. С точки зрения самого кандидата, защита — это одновременно и важная возможность выступить и заявить о своей работе, и событие, запоминающееся во всех деталях. С точки зрения директора и членов президиума, задача состоит в том, чтобы защита — необходимая и неизбежная формальность — прошла как можно более нейтрально, гладко. С точки зрения присутствующих, — тех, кто не участвует в дискуссии, — это всего лишь ритуал, довольно бюрократический. Для «стариков», напротив, доклад диссертанта, представление его научным руководителем, отзывы со всех концов Союза, которые должны означать общее обсуждение, утверждение ВАКом — синтезом советской науки и государственно-партийной власти — все это заменяет свидетельство существования научного сообщества и норм, принятых в этом сообществе, а также установленных специальными инстанциями.

Некоторые критикуют такое описание в духе ритуала, считая, что оно скрывает суть защиты. В Советском Союзе защита диссертации остается важным событием не только для диссертанта и института, но и для науки в целом. Можно было бы сделать вывод, что принцип организации научной карьеры здесь является кооптация новых членов — процесс, идеальный для осуществления контроля со стороны государственных и партийных органов.

О нынешнем кризисе этой «диссертационной» модели советской науки говорит то недовольство, которое она вызывает даже в аттестационных органах, а в глазах исследователей она выглядит просто потерей времени, т. к. «научные критерии» (принятые в среде самих исследователей) заменяются в этой процедуре «бюрократическими».

Степень кандидата наук дает возможность выйти из тех маргинальных условий существования в науке, в которых находятся почти все молодые исследователи. Принятие в научный мир в европейской и отечественной дореволюционной традициях связано с нейтральным признанием компетентности (по крайней мере с формальной точки зрения). Если партийность и личные связи вообще и играют большую роль для научной карьеры, то ритуал защиты диссертации все же демонстрирует (формальный) приоритет профессиональных качеств. Попытки власти «колонизировать» науку не распространяются на этот ритуал, остающийся нейтральной процедурой в научной карьере.



## Поступление исследователя на работу и отношения с завсектором

У работника — научного сотрудника — нет других орудий, кроме тех, которые предоставляет в его распоряжение государство; следовательно, он зависит от директора института так же, как служащий какой-либо фабрики зависит от своего патрона, — ибо директор института вполне верит в то, что это его институт, ведь он руководит им по своему усмотрению. Положение научного сотрудника, таким образом, не менее шаткое, чем у других «пролетариев».

*[4, с. 56]*

Исследователи приходят в ИИЕТ разными путями, в зависимости от индивидуального случая и исторического периода. На начальном этапе, соотвествующем директорству Кедрова и раннему периоду Микулинского, институт имел славу «убежища»: ортодоксальность Института философии и общие репрессии в среде интеллектуалов, последовавшие после подавления Пражской весны, способствовали эмиграции интеллигенции в этот институт второго плана. Выдвинув проект науковедения, Микулинский пригласил в институт новых специалистов — они не прошли через аспирантуру ИИЕТ, зато обладали разного рода опытом, накопленным за время работы в области естественных наук. Достигнув определенной стабильности, институт начал воспроизводить свой персонал по более традиционной модели, подготавливая его в собственной аспирантуре.

Прием в институт обставлен бюрократическими формальностями, среди которых — заполнение анкеты, где нужно сообщить такие сведения, как национальность, смена фамилии, партийность, семейное положение и наличие родственников за границей. Эта анкета еще действовала в период, когда я делал исследование, что показывает то недоверие, с которым в СССР относились к иностранцам, а также степень партийно-государственного контроля над жизнью индивида. Однако, несмотря на графу о социальном происхождении, анкета не мешала академическим институтам принимать на работу детей интеллигенции и тем самым наращивать этот социальный слой в СССР.

Исследователь может занимать в ИИЕТ постоянную должность или работать по хоздоговору, что иногда маскирует связи института и исследователя, не имеющего московской прописки. Будучи средством полицейского контроля, прописка создает неудобства и напряжение в жизни ряда исследователей, а ее получение невозможно без решительного вмешательства руководства института.

Во многих проблемных ситуациях отношения с научным руководителем выступают на первый план. Для молодых исследователей именно отношения с руководителем включают их в структуру отношений ИИЕТ. Эти отношения могут варьироваться от полной идентификации до полного неприятия; между этими редко встречающимися крайностями располагаются установки ученика, безразличия и обособления. Установки ученика встречаются нечасто, например в секторах психологии научного творчества или «История науки и логика» (последний отмечен личным влиянием на молодежь таких интеллектуалов, как Кедров и Грязнов). Сами исследователи называют эти отношения «научной школой». Установки безразличия более распространены: частое отсутствие, недостаточное количество публикаций, непосещение семинаров, чисто бюрократические связи с институтом вполне устраивают многих молодых исследователей, чья активность может проявляться в другой области. С этими установками связано отношение обособления: ряд исследователей, в особенности молодых, достаточно отчуждены от секторской рутины, официальных семинаров, публикаций (откуда они практически выключены). В то же время они вовлечены в другую деятельность в пределах института, такую, например, как издание препринтов, организацию собственных семинаров, показывая зачастую большую преданность науке.

Общий кризис в отношении между поколениями связан не только с полным отказом от марксизма. Структура института, довольно динамичная до 1970-х гг., больше не позволяет продвигать карьеру. Никакие реформистские течения невозможны, что заставляет молодых исследователей создавать параллельные структуры, а в представлениях о научной работе толкает к крайнему индивидуализму. С одной стороны, молодые становятся маргиналами (что выражается, например, в их неучастии в выборах директора), с другой — именно они пользуются новыми возможностями поездок за границу, благодаря знанию языков, открытости и желанию понять западный мир. Кажется, что единственный путь для них — это эмиграция или же создание автономных исследовательских структур. Старое поколение с его языком и культурой, вероятно, также станет через некоторое время маргинальным.

## Проекты

Моя стратегия — получить деньги с Запада, защитить диссертацию, получить определенный статус в России и начать переводить некоторые мои работы на английский.

*Из интервью*

Представление о будущем и проекты, выдвигаемые в ИИЕТ в рассматриваемый мною период, обнаруживают атмосферу общей неопределенности. Традиционное «планирование» сосуществует, на индивидуальном уровне, с новыми проектами, соответствующими новым возможностям. Среди секторов, входящих в отдел науковедения, только один имел проекты с вполне определенной целью и методологией. Эти проекты касались трех проблем: интенсификации научной деятельности в связи с новыми структурами в науке и социальным сопротивлением инновациям; исследований алкоголизма как примера междисциплинарной области; изменений, связанных с применением компьютеров в научных исследованиях. Методами служили «содержательный анализ» научных текстов, «наукометрический анализ» информационных потоков и «социологические опросники». Эти методы отражают интересы главы сектора, полагавшегося на библиометрические техники и подсчет цитат с целью построить кластеры и показать динамику дисциплинарного поля. Отметим, что все три проекта отвечали предметам, обсуждаемым в то время публично. Тема интенсификации соответствовала хозрасчету как одному из проектов реформирования науки. Затем Советский Союз переживал «антиалкогольную кампанию», характерную для первого, «новоандроповского», этапа правления Горбачева. Подобно этому, тема информатизации также была одним из первоочередных интересов социальной политики. В дискурсе по поводу информатизации термин «компьютеризация» встречается наиболее широко; в действительности при работе с индексом цитирования, которую в СССР проводили почти вручную, компьютер воспринимался как спаситель.

Новое законодательство о частном предпринимательстве внушило многим исследователям идею деятельности вне института. В частности, молодые исследователи и старшие, но маргинализованные, специализирующиеся в области социологического и социометрического анализа, выдвинули проект создания исследовательских обществ, открытых навстречу рынку. Если в Москве эти проекты, создававшиеся отдельными лицами или маленькими группами, были отделены от института, то, например, в Киеве весь Центр науковедения принял «рыночную ориентацию» в качестве своей политики.

На уровне индивидуальных стратегий возможность сойти с проторенного пути карьеры создали поездки за рубеж. Проект уехать на Запад особенно привлекал молодых исследователей, отделявших себя от традиционной советской науки и считавших науку в России «кладбищем». Их рассказы о коллегах, уже эмигрировавших в США, были очень позитивными, и материальные трудности, встречаемые эмигрантами, воспринимались всегда как временные.

## Исследовательницы

Американский профессор, говоря о реально действующей научной этике, определил ее в терминах маскулинности, самопожертвования, идеализма и, среди других, употребил слово «мачо»... На конференции, где это происходило, речь зашла о том, как перевести это слово, которое большинство присутствующих слышали впервые.

*Из моих заметок*

Приезжаем с Запада СССР кажется страной, глубоко приверженной патриархальным, антифеминистским ценностям. Та оценка, которую здешнее общество дает женщине, кажется иностранцу шокирующей и вулгарной. Господствующая аксиома говорит о том, что женщины должны занимать менее высокие места на работе. Еще более удивительно, что женщины, даже в интеллектуальной среде, сами разделяют такие взгляды, которые в наше время редко услышишь на Западе.

В ИИЕТе от 30 до 50% сотрудников — женщины. Выполняя самые разные обязанности, они редко занимают руководящие или ответственные должности. В мое пребывание среди ведущих секторами не было ни одной женщины, а в дирекции женщины присутствовали лишь в секретариате. Из 33 кандидатов на демократических выборах Ученого совета 16 декабря 1988 г. лишь одна дама получила голоса, но и она не была избрана. Только очень одаренные женщины могут завоевать определенный авторитет, однако это весьма редко оборачивается официальным признанием и назначением на ответственные посты.

Тем не менее в рассказах самих исследовательниц об этом подчиненном положении почти не упоминается. Такие свидетельства я встретил лишь однажды, разговаривая с молодой исследовательницей, знакомой с американским феминизмом. И это несмотря на то, что подчиненное положение женщин проявляется в мелких деталях повседневной жизни. Во время многочисленных чаепитий в институте заваривают чай и моют посуду женщины. То, что это «естественное женское занятие», еще более подчеркнуто празднованием 8 марта (Международного женского дня), обычаем с карнавальным оттенком, согласно которому готовят чай и моют посуду в этот день исключительно мужчины. В данном случае «профанация церемонии» обнажает повседневные привычки. Женщин же это не только не унижает, но, напротив, вызывает у них чувство благодарности за то, что в течение целого дня они были центром внимания мужчин. Семья и успех в семейной жизни, как правило, считаются важнейшими ценностями для женщин.

Эти рассуждения не могут быть ничем, кроме заметок на полях. Я не проводил специального исследования, для которого бы потребовался заранее подготовленный опросник. Хотелось бы отметить лишь, что «женская проблема» в сообществе исследователей и даже исследовательниц не встает: для них положение женщин выглядит естественным, а дискриминация, если и существует, обусловлена только достоинствами и научной ценностью работ.

### **Молодежь и старики: перемены и преемственность**

Выпускник вуза, выбравший научную карьеру, на этом пути почти не встречал неожиданностей: диплом, аспирантура, защита диссертации. Будучи зависимым от научного руководителя, он попал в систему, практически не оставляющую места для его собственных идей и проектов. Предопределенность всех поступков и действий, совершаемых по ходу карьеры, делала западные социологические теории о «борьбе за существование», «аккумуляции символического капитала», «циклах доверия», «циклах доверия» и пр. невыполнимыми в СССР. Но кризис советского общества коснулся и науки, обнаружив напряжение и конфликты, на которых раньше не акцентировали внимание и которые оставались в латентном состоянии. Так, развитие другой исследовательской культуры дало возможность выбора других предметов, методов, но также и другого типа карьеры.

Свобода печати, достигнутая в первые годы перестройки, создала условия для публикаций молодых сотрудников, во-первых, в виде препринтов, во-вторых, в иностранных журналах. В издании препринтов принимали участие и печатали свои работы не только молодые сотрудники ИИЕТ, но и другие представители московской и не только московской интеллигенции. Значение этого одного из первых «свободных» пространств в институте было еще и в формировании группы молодых исследователей, независимых от традиционного Совета молодых ученых — организации гораздо более бюрократической. По сравнению с разнородным составом всего института, эти молодые представляли более сплоченную группу, предлагавшую отличные от других нормы исследования. Однако в 1988—89 гг. запал отрицания, который они несли, был более явным, чем то, что они предлагали сами сделать. Они критиковали «беспрямые» исследования прошлых лет и хотели, обращаясь к более широкой публике, своими действиями и публикациями поднять престиж профессии. Несколько западных текстов и методологий стали для этой среды системой отсчета, своего рода стандартом цитирования. В то же время наметился возврат к «русской традиции».

Между поколениями возник разрыв в системе отсчета, в языке, связанный с чтением разной литературы: молодежь читала Лакатоса и Фуко, старшее же поколение, воспитанное на «вульгарном социологизме», эти авторы не интересуют. Кроме прочего, дистанция поддерживается благодаря авторитарной практике руководителей, а также из-за различия в манере поведения, так как старое поколение, прошедшее через годы политической диктатуры, более осторожно и сдержанно и, в целом, отличается большим конформизмом. Отказ молодых от марксизма проявляется в пристрастии к сциентизму, крипто-интерналистской традиции метанаучных исследований.

Несмотря на эти различия, молодые не идут на открытую конфронтацию даже в 1987 г., на общем собрании, обсуждавшем линию института и его прежнего директора, выступить с критикой «психологически было очень тяжело, страшно», следовательно, для молодых просто невозможно. Уважение к научной иерархии и нормы интеллигентности все еще сильны в среде молодежи. Отношения со старшим поколением и компромисс с ним необходим хотя бы для того, чтобы его заменить: вместо революции мы видим постепенную замену старой культуры новой, контуры которой еще слабо очерчены. Свобода неформальной организации молодежи ИИЕТ приводит к тому, что она основывает свою идентичность на отрицании советской шовинистической культуры, но не имеет силы определяться в позитивных терминах и заявить о себе публично. Формирование идентичности вряд ли возможно на основе ориен-

таций на западную науку, отечественных же научных достижений при том замешательстве, которое царит сейчас в советских республиках, трудно ожидать.

## Области научной карьеры

Не секрет, что в этой стране продвижение зависит от социальной активности индивида.

[5, с. 787]

Чем они лучше как политики и стратеги, тем лучшей науку они делают.

[6, с. 213]

Под внешней стабильностью институтов и предсказуемостью официальной карьеры в СССР скрывается разнообразие путей приобретения научного престижа. Среди различных видов карьер можно выделить ориентированную прежде всего на сферы, внешние по отношению к интеллигенции («ученые-бюрократы»), и направляемую внутренними интересами интеллигенции («настоящие ученые»). К первым относится часть интеллектуалов, поделившая с государственными и партийными органами управление культурой, ко второй — та часть, которая отвергла идеологию бюрократов и конституировала себя как «подлинная интеллигенция», — скорее нравственная, чем социальная характеристика. Эти два типа карьеры в советской ситуации прочно отделены друг от друга, так что достижения в одной сфере невозможно инвестировать в другую.

### *«Ученые-бюрократы»*

Ориентированные вовне карьеры развиваются в публичном пространстве научной жизни: ответственные должности, доступ к публикациям и поездкам за границу способствуют быстрому признанию. Те, кто добивается такого рода карьеры, направляют активность на политику в науке, на создание описаний реальности, соответствующих интересам бюрократов — людей, управляющих данной областью. Бюрократия стоит у истоков деятельности этих исследователей, давая импульс всем их работам. Язык, употребляемый в этой среде, заимствует многие элементы языка бюрократического, такие, как уточнения должностей, званий, институтов, цитирование лиц из более высоких эшелонов данного слоя, описания социальных явлений, узаконенные их использованием в бюрократических текстах («научно-техническая революция», «научно-технический прогресс», «повышение эффективности» и т. п.). Там, где «настоящий ученый», чтобы обозначить функционера-администратора, сказал бы «бюрократ», «ученый-бюрократ» говорит «кадры»; работы, не являющиеся ни теоретическими, ни методологическими, первый называет «эмпирическими», второй — «прикладными»; он же настаивает на необходимости управлять научной деятельностью с помощью специально подготовленных кадров, в чем другие видят лишь «бюрократизацию» науки — системы, которая бы сама воспроизводилась, если бы «бюрократия» оставила ее в покое. Исследователи, ориентированные на бюрократию, склонны придавать реальности «смягченный», «спокойный» вид. Среди изучаемых ими предметов парадигмальный пример — «разрешение конфликтных ситуаций», когда социальные конфликты изображаются как аномалия, которую надлежит урегулировать.

В ИИЕТ эта группа исследователей лучше представлена в области науковедения, но ею нельзя пренебречь также в области истории науки. Науковеды же поддерживали активное вмешательство администраторов в науку, видя в нем импульс для трансформации науковедения в дисциплину, непосредственно участвующую в управлении научной политикой с помощью «рекомендаций». Кризис в среде бюрократии, порожденный перестройкой, коснулся и ориентированных на эту аудиторию исследователей, которые стали искать новую публику среди нарождающейся новой элиты и части старой бюрократии, выступавшей в поддержку реформ. По происхождению и характеру эту группу можно сравнить с так называемыми «социологами-управленцами», которые разделяли идеологические ограничения, но вели исследования согласно научным критериям сбора и анализа данных [7, с. 87]. Изменение аудитории способствовало тому, что апологетический стиль таких «рекомендаций» был забыт, но цели этих исследований — создание научного фундамента для политических и социальных акций и поиск места для самих исследователей и их работ — остались прежними. В их дискурсе, образец которого я позволю себе привести, роль исследователя, интеллектуала, ослаблена лежащим в основе требованием социальной полезности — единственного, что может сделать законным его существование: «Я считаю, что главная задача науковедения — давать

научному сообществу понимание себя самого и с помощью этого улучшить управление... По моему мнению, прикладной характер и само существование науковедения означают, что оно должно участвовать в управлении: речь идет о том, чтобы изменить образ научного сообщества, развить самосознание ученых и, посредством этого, изменить модели управления, коммуникации, саму социальную систему...» [Из интервью].

#### *«Настоящие ученые»*

Слой исследователей, ориентированных на интеллигенцию, гораздо менее заметен: они не имели широкого доступа к публикациям и заграничным командировкам и обычно не занимали ответственных постов. И все же значительная часть исследователей не интересовалась деятельностью того рода, какая была описана выше. В этом случае говорить о карьере показалось бы преувеличением, но и в этой среде можно было обнаружить свой *cursus honorum*, непризнаваемый государственными инстанциями и основанный на оценке и суждениях равных коллег. Градации этой карьеры становятся видны, когда речь идет об организации семинаров, подготовке учеников и идентификации себя с идеологией, одобряемой и разделяемой исследователями с определенным мышлением. Средствами продвижения в карьере этого типа служит участие в конференциях, семинарах, дискуссиях, занятие определенного места в кругу коллег. Для того чтобы регулярно получать информацию и приглашения на всякого рода конференции и симпозиумы, абсолютно необходимо войти в определенную группу; отметками в такой карьере может служить возможность участия в подобных дебатах: 10-минутное выступление на круглом столе, часовой доклад, организация летней школы или конференции и т. д.

Наиболее характерная черта «настоящих ученых» — знание иностранной литературы, основными распространителями и интерпретаторами которой они служат. Несмотря на трудности, они все-таки публикуют свои работы (правда, ограниченными тиражами), что свидетельствует о «пористости», проницаемости бюрократической системы. Хотя на первый взгляд эти публикации похожи на тексты «ученых-бюрократов» (тем, что также пестрят положенными цитатами), они вписаны в другую систему референций с помощью ссылок на западные и дореволюционные работы. В этих текстах апология сменяется критикой и попыткой «приблизиться к реальности».

«Настоящие ученые» вплоть до 1980-х гг. смогли сохранить свой стиль карьеры — заметной и, вместе с тем, очевидной для московской интеллигенции. Группа, нашедшая в ИИЕТ прибежище в годы застоя, считает свои ценности единственными «истинными» ценностями науки и в этом смысле «нетерпима». Она оставила заботам «бюрократов» создание дискурса о конкретных аспектах научной деятельности и «горячих темах» истории науки и, занявшись теоретико-методологическими проблемами, освоила в своих текстах криптографический язык. Не принимая непосредственного участия в управлении материальными делами института, она имеет определенное влияние в секторах и на семинарах. Но в загипнотизированном «рынком» обществе ее скорее всего ждет еще большая маргинализация или же исчезновение как особой культуры.

### **3. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК СИСТЕМА СООТНЕСЕНИЯ**

#### **«Научное сообщество» как принадлежность**

Одержимый входит в зал, где идет семинар, выкрикивая нечто непонятное. Его прогоняют со словами: «Это — научное заседание».

*Из интервью*

Различие, проведенное в предыдущей главе, — между «настоящими учеными» и «учеными-бюрократами», — не единственное разделение в научном сообществе. Другим — идеологическим — основанием разграничения является отношение к коммунизму и лояльность к коммунистической партии, причем не декларируемые, а искренне разделяемые. Естественно, что среди «ученых-бюрократов» много коммунистов, но их много также среди «настоящих ученых»: эти последние, хотя и являются, по выражению одного исследователя, «истматовскими людьми», все-таки профессионалы. По сравнению с ними «ученые-бюрократы», точнее, те из них, кто может легко избавиться от идеологии, бывшей лишь авторитарным инструментом контроля над культурой, более приспособлены к новым условиям (хозрасчет, рынок). Существующие внутри научного сообщества группы — «ученые-бюрократы», «настоящие ученые», «марксисты» и т. д., — это не «незримые колледжи», а вполне очевидные, по крайней мере, для информированного наблюдателя, группы с высоко формализованными по-

веденческим кодом и научной практикой. Они показывают, что научное сообщество в СССР неомогенно, в частности, не существует того единого сообщества, к которому хотели бы себя причислить «настоящие ученые», — картина на самом деле гораздо более сложная.

## Публикации и их роль

- Где бланки заказов на ксерокс?
- В партбюро. [Пауза] Но, может быть, теперь еще и в секторах.

*Из интервью*

Какую бы функцию ни выполняли публикации, это один из наиболее важных элементов научной жизни. В Советском Союзе научные публикации имеют свои особенности, связанные с разным типом ограничениями — такими, например, как нехватка бумаги или старая полиграфическая техника в издательствах. Из-за этого, в частности, здесь мало научных журналов, что вызывает замедление публикаций и очереди в редакциях. Публикации в иностранных журналах затруднены: кандидат должен обращаться в Главлит (цензура) и ВААП, собрать в результате пять подписей на своем заявлении, и лишь после этого можно прибавить к ним визу института. В последние годы, с ликвидацией Главлита, эта процедура значительно упростилась. При таких трудностях удивление вызывает появление в ИИЕТ новых типов публикаций — таких, как упоминавшиеся уже препринты. К «производственным» трудностям добавляются проблемы распространения и использования литературы: основная масса советских исследователей нерегулярно читает научную литературу, мало цитирует и, в результате, мало общается друг с другом.

Одними из видов публикаций служат автореферат и депонированная статья, не предназначенные для широкого распространения. Они создают «фиктивный вес» исследователя: для защиты диссертации необходимо иметь не менее двух статей, а так как добиться настоящей публикации довольно сложно, то и были придуманы такие «неполноценные» статьи. Другим относительно доступным видом публикаций являются тезисы доклада и отчет о конференциях и подобных им событиях: 7—8 страниц повествовательного текста, как правило, без критической составляющей; достоинство их — быстрота появления.

Доступ к таким публикациям, как научная статья, разный: наибольшей свободой здесь пользуются те, кто занимает верхушку иерархии: академик, член-корреспондент, профессор, доктор наук — как правило, они состоят в журнальных редколлегиях. Для молодых исследователей решающими являются отношения с научным руководителем и отношения последнего с редакцией: этим отчасти объясняется феномен соавторства. Статью представляют как продукт, за который несет ответственность научное сообщество, поэтому она должна подвергнуться апробации на разных уровнях этого сообщества: обсуждению в секторе, на Ученом совете, которые могут потребовать, особенно если текст неортодоксальный, переделать его. Затем контроль передается редакции журнала, которая также может потребовать изменений или положить статью в долгий ящик. Вся цепочка предназначена для выбраковки нестандартных, неконформистских статей. В результате вышедшая из печати статья становится иногда неинтересной для публики. С этим связана разная роль публикаций на Западе и в СССР: тогда как на Западе публикация в престижных журналах составляет неотъемлемый элемент научной карьеры, в СССР она на «карьеру» практически не влияет. Раз достигнув «ответственного поста», исследователь получает полный доступ в журналы и может публиковать множество статей. В СССР часта ситуация, характерная и для ИИЕТ, когда журнал составляет одно целое с институтом, он — «лицо института», так что сотрудники с маргинальным статусом с трудом публикуют в нем работы. Таким образом, научные журналы играют роль скорее «депозитария» для вкладов, чем форума для дискуссий и источника научной информации, что вызывает, в конечном счете, недовольство аудитории.

Издания книг внесены в пятилетний план публикаций ИИЕТ. Все академические тексты подвергаются апробации со стороны ряда лиц: «ответственного редактора», «рецензента» и «редактора» или «составителя», чье вмешательство доставляет автору больше всего неудобств, так как он обязан подчинить свою работу требованиям стороннего лица, да еще и не обладающего «научным» статусом. На Западе переговоры с редактором журнала — процесс также болезненный для автора, но требования здесь совсем другие: если на Западе от автора добиваются, чтобы он писал как можно менее «теоретическим», более понятным языком и приводил больше данных, то в СССР язык подгоняется под стандартный с идеологической точки зрения.

Пройдя редакционную работу, книга может ожидать публикации несколько лет — таков, например, порядок в издательстве «Наука», которое обслуживает все академические институты, выделяя каждому свою квоту публикаций. Время, занимаемое печатанием книги в сто-

лице, всегда дольше (до 5—12 лет), чем, например, в Киеве, где находится Центр Доброва и где можно «пропустить книгу» за период от нескольких месяцев до двух с половиной лет (по отзыву директора «Научовой думки»).

Что касается читательской аудитории, то часть интеллигенции считает, что в СССР не существует научного сообщества. Мне приходилось слышать высказывания вроде таких: «Ты видишь все эти книги по "нашему" науковедению? Они покрываются пылью»; «Ты публикуешь статью, и никто ее не читает, статьи повторяются, и никто этого не замечает»; или еще: «Научное сообщество, в своем идеальном виде, не существует: никто не читает научную литературу». Дискуссии вообще затруднены: «Особенность нашего сообщества — отвечать на критику молчанием», «Дискутировать трудно — люди боятся, что им приклеят ярлыки». В результате единственная область для критики — это выступления в адрес «буржуазной» научной продукции; часто советский читатель впервые знакомится с иностранными работами именно в таком виде. Настоящую критику можно не прочесть, а лишь услышать — на семинарах и других устных выступлениях.

Ситуация с публикациями в Советском Союзе — одна из причин того, что практически ничто новое не может прорваться через двойной ряд барьеров, политических и научных. Не случайно новые дисциплины, как науковедение или социология, встречают столько трудностей на пути научной и политической легитимизации и не могут достичь институционализации.

Процедура научных публикаций в СССР выдает почти гротескный образ коллективности научного творчества. Прежде чем выйти из печати, работа должна быть прочитана, обсуждена и одобрена в этой среде, представители которой имеют очень мало общего между собой и, в особенности, мало желания обсуждать не интересующие их исследования. Темы дискуссий, которые могут быть интересны для 2—3 исследователей, принудительно навязываются таким образованиям, как Ученый совет. В результате у автора отнимается и свобода, и ответственность за публикацию. В то же время обсуждение на Ученом совете сводится к чисто символическому акту, который служит лишь подтверждением сложившихся иерархических отношений.

В результате само существование публикаций оказывается скорее следствием необходимости публиковать, чем сообщать информацию. Это — бюрократическая формальность, диктуемая планом или необходимостью для исследователя делать карьеру. Самым печальным тому подтверждением (см. [3, с. 31]) является история с рассыпанным в издательстве набором книги одного недавно умершего исследователя, так как «если он умер, то зачем ему эта книга?». Малочисленность публикаций приводит научное сообщество в СССР на до-гутенбергову стадию, которой наука никогда не знала; она же ведет к преувеличению роли семинаров как центра научной жизни. Возврат публикаций в центр внимания науки должен произвести одну из самых больших перемен, которая, однако, не будет автоматической, ибо утвердившаяся культура имеет тенденцию сопротивляться.

### Семинар как привилегированное место научного общения

В шахматах я могу анализировать лучшие стратегии, но, в конечном счете, важно лишь то, что происходит за доской... Семинар — это столкновение за доской.

*Из интервью*

В собранных мною рассказах о семинарах говорится как о наиболее важном событии в жизни института. Семинаром я называю любые формы встреч исследователей, тема которых заранее определена, — такие, как школа (в которой участвуют, как правило, молодые исследователи и аспиранты), семинар в собственном смысле слова, конференция, лекция и др. На всех семинарах, кроме «официальных» (таких, как проводимый в ИИЕТ «методологический семинар»), где принято избегать «конфликтных ситуаций», приветствуются «критические» выступления, в которых сообщение оценивается с точки зрения его соответствия культуре группы, используемому в ней языку и приоритетам. Присутствие критики маркирует границу между «учеными-бюрократами» и «настоящими учеными». В культуре этих последних допускается, чтобы каждый выступил с вопросом и/или критикой, что и происходит согласно статусу в этой группе, единой по своим ценностям. Семинар — это практическое единственное место, где можно наблюдать иерархические отношения, сложившиеся в группе «настоящих ученых». Семинар, особенно «закрытый» (такие семинары в виде «домашних» были распространены до перестройки, а их начало можно проследить, как это сделал американский историк науки Марк Адамс, еще в 1920—30 гг.), — основной показатель существования в институте неформальной группы со своим лидером. Атмосфера на таких семинарах гораздо менее связана самоцензурой, политические ориентации и скептицизм участников не

скрываются, и проявляются те интересы, которые не принято показывать на официальных семинарах (например, к Гуссерлю, религии, западной социологии и философии науки).

Семинар такого типа я наблюдал в ИИЕТ зимой 1988—89 г. — он носил относительно педагогический характер и состоял преимущественно из молодых участников; предметами обсуждения были темы исследований участников и рефераты иностранных работ (например, русского перевода книги Гилберта и Малкея «Открывая ящик Пандоры»; на этом семинаре обсуждались релятивизм и возврат к экстернализму в западной философии науки). Он существенно зависел от лидера и в этом смысле был «неформальным», т. е. не имел институционального будущего.

Другой характер носили семинары секторов, выполняющие прежде всего функцию социализации. Объявления о семинарах вполне отвечали их характеру — официальному или неформальному (секторские семинары помещаются где-то между ними): если о первых можно узнать из афиш, вывешиваемых недалеко от дирекции, то о последних принято «узнавать самим». Я однажды стал жертвой этого правила, узнав о семинаре, когда он уже прошел. В ответ на мой вопрос одному из его участников, почему он не предупредил о заседании, я услышал: «Ты сам должен узнавать. Что ты хочешь, ведь мы — как «невидимый колледж»».

Итак, семинары служат мощной школой социализации для московской интеллигенции и источником формирования групп с общими основаниями идентификации. Общение между этими группами довольно архаично, так как не привлекает других, кроме слова, средств коммуникации. Существование семинаров привело к преобладанию устной культуры, культуры дискуссий и ораторов, когда исследователи, не выпустившие ни одной книги, могут считаться «настоящими учеными», тогда как другие, опубликовавшие десяток книг, — только «бюрократами». В то же время, когда научная жизнь сводится к семинарам, возможность того, что откроется настоящее противоречие, равна нулю, ведь научная аудитория поделена на небольшие, как правило, мало коммуницирующие друг с другом группы с общими внутренними ценностями и личными связями, выходящими за пределы науки. Строгая иерархия, царящая в этих группах, выработка особого кода поведения и языка, отвержение тех предметов исследования, которые выходят за пределы кружковой «методологии», являются условиями, препятствующими разворачиванию противоречий и контрверз в советской науке. Семинары функционируют как машина образования консенсуса, более мощная, чем научные публикации, наполняя советскую науку парадоксами и не способствуя ее превращению в «нормальную» науку.

## **Власть как угроза для интеллектуальной свободы и как шанс**

В советском обществе все другие отношения власти являются вторичными по сравнению с властью коммунистической партии и ее идеологии, поэтому влияние партии должно быть рассмотрено в первую очередь. Отдел науки в ЦК КПСС служил центральным органом, управлявшим всей академической наукой; его роль в создании науковедения мы уже отмечали. Еще в 1987 г. в его ведении находилось назначение директоров ключевых институтов. Что касается ИИЕТ, то более очевидным был контроль над ним со стороны райкома, который руководил и оценивал всю деятельность институтского партбюро. В сентябре 1970 г. партийное постановление раскритиковало работу партбюро Института физики («лебедевского») и предписало институтским партбюро функции «политического образования», контроля над сотрудниками и даже над самими исследованиями. В эпоху перестройки значение этой инстанции, как казалось, начало уменьшаться, а роль последнего секретаря партбюро свелась к ликвидации им самим собственных функций.

Исчезновение партии как главного официального авторитета создало пустоту, которая, как известно, быстро заполняется. На смену марксизму-ленинизму как идеологии славянофилов, «вернадскианцы» и другие делают попытки утвердить собственную идеологию, основанную на каких-либо «истинах».

Парадоксальным образом советская власть, подавляя науку, отрицая ее автономию, давала ей социальный престиж, привилегии и возможности. Интересно отметить, что (как мы увидим ниже на примере науковедения) поведение самих исследователей часто также было двойственным, вплоть до того, чтобы, используя возможности, которые дает связь с властью, теоретизировать на тему самоуправления в науке.

Кроме партии, власть над академической наукой сосредоточивалась в руках ГКНТ, чиновники которого контролировали три фундаментальных инструмента: научные коммуникации (в качестве членов редколлегий), присуждение степеней (в качестве членов Ученых советов) и разработку планов научного развития — следовательно, распределение ресурсов и финансирование исследовательских проектов.



В период перестройки всеобщее желание реформировать управление наукой начало сбываться. «Перестройка» в Академии наук преследовала две цели: предоставить институтам большую самостоятельность в исследованиях и сохранить Академию как учреждение, координирующее научную деятельность, дающее научное обоснование планированию и обеспечивающее научную экспертизу. Эта цель — изменить все, чтобы ничего не изменилось, — превратила, например, в комедию деятельность «комиссии по борьбе с бюрократизмом» в научных институтах: комиссия, состоявшая по большей части из бюрократов, добилась сокращения количества бумаг, необходимых для публикации статьи за границей, с 63 до... 53. [8, с. 136, 141, 152].

В целом власть рассматривалась по-разному двумя группами исследователей. Интеллигенция видела в ней опасность для автономии науки, а в выборочном («приоритетном») финансировании исследований — препятствие для развития отдельных дисциплин. Вмешательство власти, такое, как поддержка людей типа Лысенко, оценивалось безусловно отрицательно, как производство «лженауки». В противоположность этому, для другой группы исследователей (часто происходивших не из среды интеллигенции) власть (академическая, экономическая, политическая) представляла собой определенный шанс, обеспечивая престиж, привилегии, возможность поездок за границу — то, чего нельзя было получить в других сферах общества.

### **Исследовательская активность: методы, язык, организационные формы**

Я обнаружил, что наука, как и культура в целом, — это системы, постоянно выдающие самоописания, так как ученый не только исследует объект, но и осознает свою собственную деятельность, скажем, формулирует свои методы. Это парадокс: человек, изучающий социальные проблемы, или я, науковед, имеем дело с таким предметом, который сам говорит о себе.

*Из интервью с М. А. Розовым*

Наблюдатель в советском исследовательском институте видит много социальной, но мало научной активности, которая совершается в основном дома или в библиотеке — тем более, что график работы свободный и не слишком напряженный. К тому же, исследования в институте ведутся по гуманитарной модели. Историки и философы науки основываются на изучении литературы или архивных источников разного рода (архивные фонды, воспоминания, переписка). Науковеды не слишком изменили гуманитарную традицию: они добавили к источникам статистические данные, анализ цитирования, классические методы социологии (опрос, беседа, анкета). Среди «наукометрических» методов заслуживает внимания оригинальная методика анализа личных контактов между исследователями, разработанная Г. Г. Дюментоном. Он и С. Д. Хайтун, автор интересной книги «Наукометрия. Состояние и перспективы» (М., 1987), остались одними из тех немногих, кто не перешел к анализу цитирования — технике, получившей широкое распространение, особенно в работах молодых сотрудников ИИЕТ.

Институт представляет собой поле столкновения различных групп, причем речь идет не только о трех его отделах, но и о группах-секторах внутри одного и того же отдела. Так, между тремя секторами, входящими в отдел науковедения, практически нет сотрудничества, кроме отношений «автор—ответственный редактор—критик» в случае выхода очередного тома изданий института. Группа Микулинского, например, связана с психологами, но ни в коем случае — с кедровскими философами; социологи отчасти связаны с группой Микулинского, отчасти — с философами, но не с науковедами в составе группы Кара-Мурзы. «Политические» группировки в ИИЕТ не затрагивают рядовых исследователей; если же сотрудник принимает в них участие, это уже свидетельство его выхода из маргинального положения и приближения к элите.

Исследователь может входить в разные политические группировки, исследовательские коллективы и сектора, так как это несовпадающие объединения. И, однако, исследовательскую активность равно не удается зафиксировать ни в одной из этих групп. Поэтому я решил обратиться к анализу более очевидного феномена — языка исследований. Языку в традиционно «устной» культуре советской науки уделяется большое внимание: секторский семинар, например, в основе своей посвящен выработке и стандартизации собственного языка; обсуждение этимологии или точного значения какого-либо термина может длиться часами. Помимо этого, советская наука регулярно выдает новую терминологию, как это было и в случае науковедения.

Научный язык в СССР похож по своей стабильности, стандартизованности, моментальной узнаваемости оборотов на язык политический. Автор всегда использует безличные кон-

струкции, имеющие «абстрактный» характер констатации фактов; любая эксцентричность, отличающаяся от стандарта, недопустима. Статьи, в которых автор вводит более личный тон, классифицируются как публицистика и не цитируются, так как считаются «ненаучными», содержащими не более, чем чье-либо личное мнение. Существующая культура текстов требует приведения данных, которые, даже будучи взяты из сомнительных в методологическом отношении источников, должны придавать работе более «точный» вид.

Очень распространены отсылки к авторитетам. По мере того, как социализм исчезает как социальная цель, появляется тенденция заменить его в этом качестве другими реалиями: «цивилизованным» западным обществом, славным прошлым русской науки и просто России, «уравновешенным» и «ноосферическим» обществом и другими фантазиями в этом роде. Цель — найти новую политико-идеологическую легитимизацию научного дискурса. В то же время продолжалась практика цитирования авторов, считавшихся классиками, и носителями непререкаемой истины (например, В. И. Вернадского). В итоге в советском дискурсе совершенно отсутствует «я»: субъект, производящий знание, полностью скрыт за языком, который служит единственным источником легитимизации текста. Особенно это заметно в случае науковедения — дисциплины, еще не получившей институционализации. Здесь не допускается никакого отклонения от норм: ни шуток, ни «журнала невоспроизводимых результатов», ни цитирования эксцентричных авторов, ибо фундаментальной ценностью является «серьезность».

## 4. ОБРАЗЫ НАУКИ

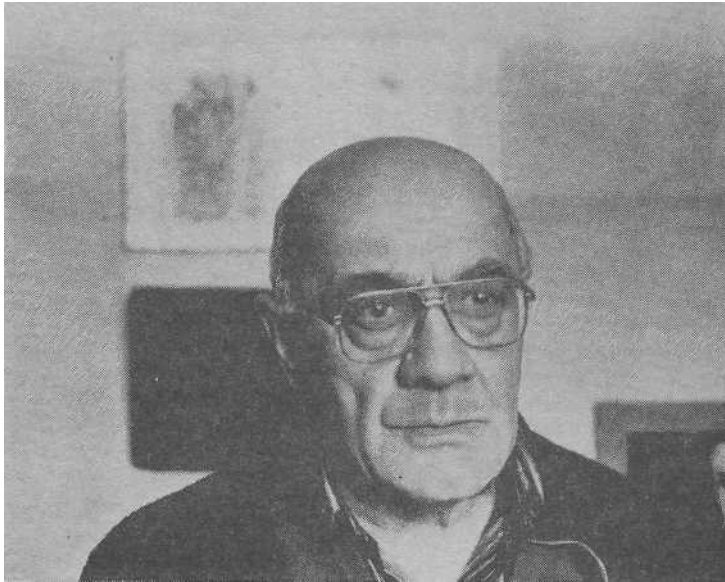
### Особая эпистемологическая традиция

Советские философские тексты трудны для западного читателя. На первый взгляд, все они представляются ортодоксальными, то есть марксистско-ленинскими, но в зависимости от выбора проблемы, характера цитат, иногда стиля и других элементов их можно отнести к разным категориям, в особенности с помощью тех уточнений, которые удается сделать в полевым исследовании.

В основе современной научной рефлексии лежит работа группы интеллектуалов-марксистов, в числе которых И. В. Кузнецов и Б. М. Кедров. Последний, в частности, сделал своей задачей разработку ортодоксальной теории науки, основанной на едва намеченной в работах Ленина эпистемологии, но так, чтобы утвердить автономию науки по отношению к социальным и политическим структурам. Он взял у Ленина понятие отражения и определил науку как отражение реальности, верифицированное с помощью специальных процедур. Наука поэтому имеет свои закономерности, свою «внутреннюю логику»; такое понимание сближало работы Кедрова с неопозитивизмом. Эта операция имела огромное значение для того, чтобы вывести философские дебаты из сталинской схоластики. Еще одним вкладом в новое представление о науке стало ее определение как «непосредственной производительной силы», что также отдаляло научную рефлексии от анализа ее как «надстроечной», идеологической структуры. Скрытая неопозитивистская ориентация проявилась и в работах по языку науки, которая, в частности, велась в организованном в ИИЕТ семинаре Г. П. Щедровицкого. Философия Поппера прочитывалась в Советском Союзе также скорее как неопозитивистская, чем как противоположная этому подходу. Б. С. Грязнов воспринял у Поппера и Лакатоса фундаментальную идею «рациональной реконструкции» науки, противостоящую «социологическому» подходу в духе Куна и Фейерабенда.

Вскоре, однако, к анализу языка и логики науки прибавился ее культурологический анализ: эта ориентация имела отечественные традиции в работах М. М. Бахтина. К этому подходу принадлежали работы В. Л. Рабиновича по истории алхимии, полемизирующие с модернизацией истории; историк П. П. Гайденко предложила пространный и интересный анализ «эволюции понятия науки», уводящий от близкого логикам определения науки. Введенное В. С. Степиным понятие «научная картина мира» представляло собой плодотворное объединение идей исследовательской программы, теории систем и традиционной культурологии. В целом культурологический подход предлагал взгляд на науку как на ансамбль структур, или научных деятельностей, развитие которых детерминировано строгой системой норм. Система науки понималась, подобно другим системам культуры, как мировоззрение, свойственное определенной эпохе.

Особое значение в этом контексте имеют разработки М. А. Розова, в которых он основывается на собственных категориях; мне кажется, что оригинальное развитие Розовым формалистской и культурологической традиций, его тенденция покончить со структурами и устранить проблему субъекта вообще типична для русской философии данной эпохи. Он и его ученица Н. И. Кузнецова, благодаря искусству вести семинары, оказывают значительное



*Мераб Константинович Мамардашвили (1930—1990).  
Фото предоставлено Ю. П. Сенокосовым*

влияние на молодежь ИИЕТ. Отдельно стоит попытка грузинского философа М. К. Мамардашвили освободить представление о науке от телеологической систематичности, отрицая ее нормативный характер и определяя как «разрушителя» нормативных систем, создаваемых культурой. На все эти очень часто оригинальные и блестящие исследования накладывает отпечаток необходимость скрывать или, по крайней мере, не слишком подчеркивать свою неортодоксальность, свое отличие от марксистских работ, — несмотря на то, что это вполне может привести в растерянность научную молодежь.

### **Методологическая одержимость**

Традиционно в СССР исследователи, которые работают «предметно», над конкретным объектом, не привлекают такого внимания, как те, кто ищет «общие закономерности» развития общества, науки, человека. Научная жизнь в ИИЕТ предстает перед наблюдателем как бесконечные методологические дебаты, начиная с обсуждения точного употребления терминов. Интерес сосредоточен в основном на определении позиций, а не на «фактах»; наиболее острой считается не проблема интерпретации феноменов в свете определенной теории, а проблема стройности и элегантности самой теории. Между теорией и реальностью, вместо взаимодействия, преобладают односторонние связи — от теории к реальности. Эта «ортопедическая» традиция со своим абстрактным стилем и собственным языком существенно повлияла на интеллектуальную среду, а в 1970-х гг. конкретизировалась в семинарах Г. П. Щедровицкого в ИИЕТ.

В рамках этой методологической традиции в настоящее время обсуждается кризис сциентизма: его критика исходит от исследователей с разными точками зрения: культурологической, навивной естественнонаучной, неопозитивистской. Такая чувствительность к проблеме следует из необходимости преодолеть разрыв между советской и западной традициями, различающимися, в частности, тем, что в западной философии науки преобладают релятивизм и конструктивизм. Этот разрыв не может быть понят без продумывания динамики советского мира, «прогрессистского» в своей основе, в котором образы «науки» и «прогресса» прочно связаны. Отсутствие радикальных изменений — таких, как создание независимой аудитории и необходимая автономия исследователя, к которым мог бы привести союз исследователя с внеакадемическим миром, — ведет к тому, что «антисциентисты» фактически выполняют консервативную роль сохранения старой схоластической культуры «башни из слоновой кости».

## Приключения науковедения

Науковедение, таким образом, — наша большая фикция... Науковеды следовали западной социологии науки, не производя ничего нового... Науковедение не имеет никакой ценности, так как не исследует советскую науку, оно может исследовать только науку западную: ведь если с гносеологической точки зрения наука и едина, то механизмы познания совершенно разные.

У меня к науковедению спокойное отношение: возможно, его нет, возможно, должно существовать нечто вроде синтеза между науковедением и историей науки.

*Из интервью*

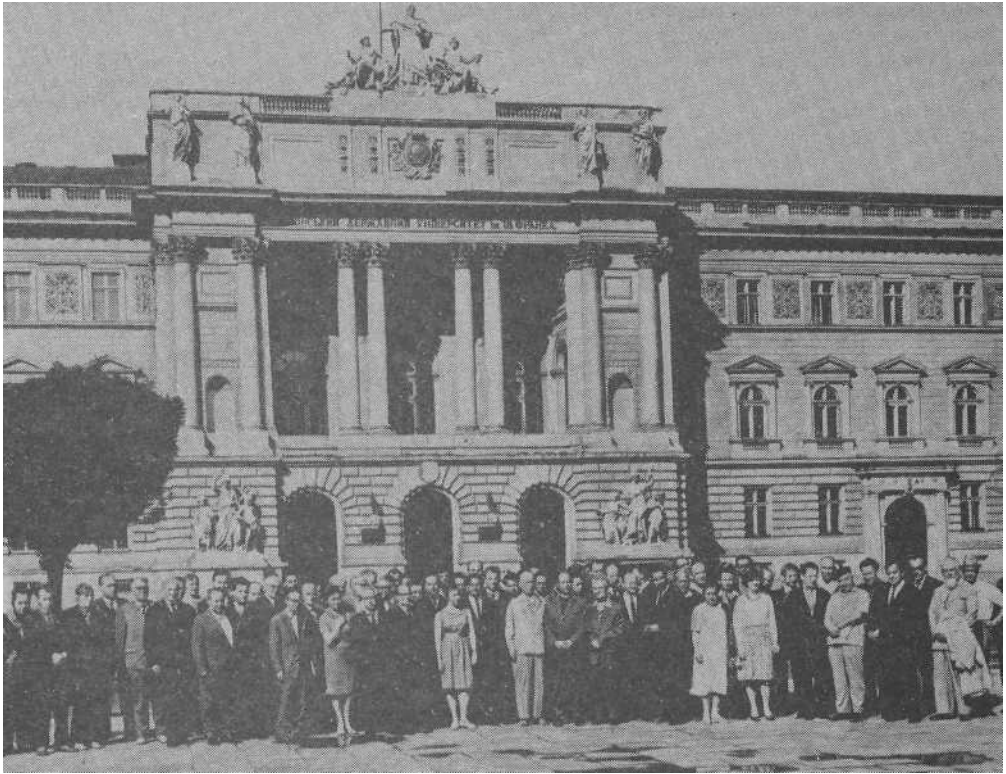
Науковедение было попыткой планировать развитие одной научной дисциплины, имеющей целью планировать развитие всех других дисциплин и научную активность в целом. История именно такого, планового науковедения ограничена в основном рамками 1966—79 гг., совпадающими с директорством С. Р. Микулинского. Само слово «науковедение» использовалось в 1920-х гг. в значении «теория знаний». (В 1916—37 гг. Россия была одним из центров исследований науки: работы по учету и анализу научных институций велись несколькими группами исследователей и поддерживались Академией наук. Из того периода современные науковеды переняли разработки Вернадского, сыгравшего, в частности, важную роль в создании Комиссии по истории знаний.) Оно буквально соответствует слову «эпистемология», то есть «дискурс о науке». Но выбор русской кальки не был случайным: он отражал амбиции создателей науковедения, стремившихся отгородить свой подход от западного. В действительности науковедение переняло западные, а именно американские, традиции в изучении науки, заимствуя многое у таких авторов, как Дерек де Солла Прайс, Дж. Бернал, Дж. Пельц и Ф. Эндрюс.

Науковедение, по словам его создателей, может быть охарактеризовано двумя чертами: во-первых, это — целостный, или междисциплинарный подход, включающий социологию, психологию, системный подход, статистику, экономику, организацию. Во-вторых, оно определяется через свой объект — науку, научную деятельность. Многочисленные попытки дать более точное определение не были успешными. Проект Микулинского оказался обособлен от исторического и философского изучения науки, хотя сам автор и был историком: анализ современной науки должен любой ценой исключить проблемы природы науки и ее истории, что отвечало идеологическим запросам и служило задачам институционализации новой дисциплины. Трудности с самоопределением науковедения лежали также в ограничениях на социологические исследования. Но, поскольку государственные и партийные органы нуждались в научном обеспечении своего руководства наукой, проект Микулинского, хотя он одновременно и давал легитимность опасным с точки зрения идеологии подходам и дисциплинам, все же прошел.

Однако между науковедами и «бюрократами» от науки существовал большой разрыв: первые отказывались позволить этим «примитивам» управлять наукой, которую они считали самоуправляющейся системой. Это отношение было частью общей оппозиции интеллигенции и бюрократии [9, с. 44—49] и свидетельствовало о существовании в среде науковедов двух уровней коммуникации: один был ориентирован на бюрократию, другой — направлен на интеллигенцию. Науковедение конституировало себя как «прикладная» дисциплина, хотя работали в ней исследователи, по своей подготовке и установкам бывшие антиподами такого подхода и не имевшие ни интереса, ни технических знаний, ни знакомства с культурой планирования. Установками исследователей по отношению к власти было просветительство путем выработки теорий, а также поддержка автономии науки и уважения к интеллигенции. Любой компромисс с «бюрократической» властью выглядел при этом предательством интеллигенции.

Науковедение как дисциплина — первый плод предполагавшейся теории планирования науки — никогда не была разработана в более или менее законченном виде, родившись, в определенном смысле, уже мертвой. В действительности крайний редукционизм этой схемы, отказ от анализа отдельных элементов системы, шедших вразрез с идеологией, и, в особенности, ограничение источников только разрешенными привели проект Микулинского на заре его возникновения к краху. То, что сейчас существует под предложенным им названием, — другая область, не похожая на первоначальный замысел.

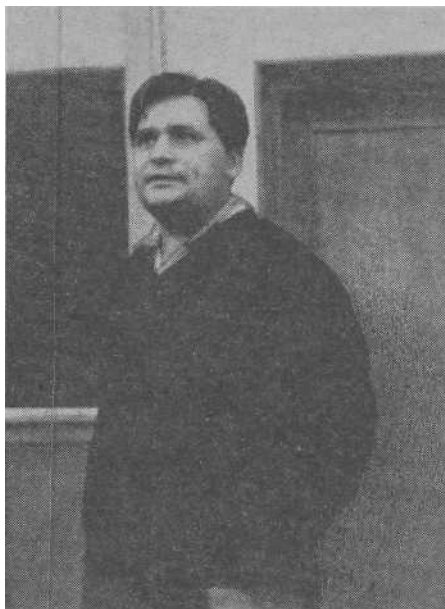
Официальное рождение науковедения, отмеченное выходом статьи С. Микулинского и Н. Родного в «Вопросах философии» [10], произошло после советско-польского симпозиума



*Участники первого советско-польского симпозиума по науковедению. Львов, 1966 г.  
Фото предоставлено иконотекой ИИЕТ РАН*

во Львове в 1966 г. На Украине Г. М. Добров разработал подобный проект под названием «наукознания», где речь шла об индикаторах «научно-технического потенциала», а основной задачей была научная поддержка политики планирования. (Добров, инженер по образованию, как и почти все его сотрудники, был связан с ЦК компартии Украины и с местной номенклатурой — один из членов семьи первого секретаря был науковедом.) Пожалуй, в Киеве этот проект удался больше, чем в Москве, где область метанаучных исследований не была целиной: здесь предстояло вмешаться в сферу, где уже существовали институты, журналы с их редакциями, семинары, дружеские связи и вражда, личные стратегии, академики и т.п. Микулинский, главный руководитель проекта, выступал скорее как организатор, чем как научный лидер: он взял на работу в институт много новых сотрудников, создал новый отдел — науковедения, способствовал публикациям работ сотрудников института, но сам не выполнил ни одного науковедческого исследования. Для исследователей из среды «настоящих ученых» такого рода лидерства было недостаточно: они вели самостоятельную работу и были совершенно нечувствительны к требованиям планирования и междисциплинарного подхода. В результате в ИИЕТ возникли сектора социологии науки, системных исследований, психологии науки, экономики и организации научной работы; последние — наиболее близки дирекции и далеки от интересов остальной части исследователей. Эти дисциплинарные проекты не соответствовали манифестируемым тенденциям и зародились, как паразиты, из невозможности свободного развития конкретных дисциплин. К тому времени Микулинский понял опасность, тающуюся в подобном дисциплинарном развитии: с конца 1979 г. он перестал говорить о науковедении, отказавшись от проекта. Причины этого он раскрывает в статье, где пишет, что науковедение не выполнило требований прикладной науки, оказывающей поддержку государственному планированию [2, с. 6, 9]. К этому времени, однако, исследовательское пространство со своими институциями (сектора, отдел, аспирантура, кандидаты наук, конференции, летние школы, ежегодники и другие публикации, реферативный журнал и др.) уже существовало. И хотя публикация ежегодника по науковедению «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов» прекратилась, «развитие» дисциплины Мику-

линский не мог остановить, а в 1986 г., превратившись в представителя иерархии, не связанного с исследовательской работой, он покинул институт.



*Геннадий Михайлович Добров (1929—1989)  
на симпозиуме во Львове.*

*Фото предоставлено Н. И. Кузнецовой*

Науковедение как плановая дисциплина более не существовало, но другое науковедение продолжало жить: речь идет о конкретных исследованиях, связанных более с материнскими дисциплинами, чем с комплексным проектом. Само слово чаще встречается как прилагательное — «наукovedческий», заменяя иногда более сильные определения («психологический», «социологический»). Современные науковеды гораздо лучше сознают профессиональные и институциональные ограничения своей дисциплины, как и трудности продвижения этого проекта в академической среде. Все это позволяет надеяться на будущее содержательное развитие науковедения. Пока же, к сожалению, большинство содержательных усилий концентрировалось на построении теоретических схем, совершенных в своей целесообразности и законченности, но эфемерных, не связанных с реальностью — своего рода «творений в пустоте». Замкнувшись в своих абстрактных моделях, науковеды, за редким исключением, не имеют средств, чтобы отвечать на непредсказуемые требования разнородного социального окружения: так, не владея современными техниками социологических и статистических исследований, они не могут предложить ничего, кроме зондажей и экстенсивных исследований, касающихся отдельных дисциплинарных областей. Путь науковедения и, в частности, науковедения Микулинского, свидетельствует о трудностях планирования такой сложной области, как научная дисциплина; кроме того, этот проект был связан культурными условиями — хотя какой проект или идея не несет на себе их отпечатка?

### Список литературы

1. *Mongili A.* Sociologues et sociologie des sciences en U.R.S.S. Le cas de l'Institut d'Histoire des Sciences Naturelles et de la Technologie de Moscou. Thèse de Doctorat en sociologie sous la direction de M. le prof. Marc Ferro. Paris, 1993.
2. *Микулинский С. Р.* XXV съезд КПСС и проблемы повышения эффективности научной деятельности // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы III Всесоюзной конференции. М.-Л., 1979. Вып. 7. С. 3—12.
3. *Розов М. А.* Философия без сообщества? // Вопросы философии. 1988. № 8. С. 23—36.
4. *Weber M.* Le metier et la vocation de savant // Le savant et la politique. Paris, 1987.
5. *Maddox J.* Reforming Soviet Research // Nature, 1987. 6142. 29 oct. P. 779—802.
6. *Latour B. & Woolgar S.* Laboratory Life: The Constructions of Scientific Facts. Princeton, 1986.
7. *Shlapentokh V.* The Politics of Sociology in the Soviet Union. London, 1987.
8. *Гинзбург В. Л.* Против бюрократизма, перестраховки и некомпетентности // Иного не дано. М., 1988. С. 135—153.
9. *Мирская Е.* 3. Научная политика и социология науки // Социологические исследования. 1990. № 12. С. 42—50.
10. *Микулинский С. Р., Родный Н. И.* Наука как предмет специального исследования (к формированию «науки о науке» — науковедения) // Вопросы философии. 1966. № 5. С. 25—38.

Н. И. КУЗНЕЦОВА

## ИИЕТ КАК ОБЪЕКТ «ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» И САМ ПО СЕБЕ

Отчет Алессандро Монджили о «полевом исследовании» ИИЕТ, проведенный в духе «этнометодологии» науки, мне, признаюсь, в первый момент хотелось назвать «Путешествием Гулливера в страну гуингнмов»... Бесспорно, многие внешние черты нашей научной жизни конца 80-х гг. схвачены метко, остро, — иногда даже испытываешь прилив благодарности к автору за то, что ему удалось запечатлеть те детали нашего научного быта, которые сотрудникам Института представлялись вполне тривиальными и обычными: никому и в голову не приходило уделить этим деталям должное внимание и поразмышлять над тем, что они, собственно говоря, значат. Но именно этой обычности и привычности не существовало для иностранца, который отличался от нас всей суммой усвоенного житейского, социального и духовного опыта. Самым тоном своего рассказа (и, конечно, в полном соответствии с требованиями своей методологии) этот «сторонний наблюдатель» показывает, что наши привычки, ритуалы, нормы — вовсе не универсальны и не абсолютны, они могли быть иными в другой среде, а следовательно, они весьма привлекательны как объекты описания и анализа. Нужно ли нам — героям и персонажам этого рассказа — спорить со столь очевидным тезисом? Действительно, в этих привычках, ритуалах и нормах зафиксирована определенная практика, традиции, т. е. именно базовый социо-культурный опыт, порождавший в конечном итоге нашу духовную продукцию, ее характерные черты, ее неясную (неотрефлектированную нами) методологию. Фиксацией различных аспектов нашего научного быта, а на этом фоне — размышлением о судьбе определенной исследовательской программы («науковедения») — прежде всего интересна и значима работа А. Монджили.

Правда, как у всякого непосредственного участника событий, у меня есть своя — встречаемая — интерпретация происшедшего в те годы. Мне, как, думается, многим читателям этой работы, часто хотелось воскликнуть: «Все было не так! Автор просто не разобрался в тех фактах, которые он собрал; автор просто не понял событий, которые он наблюдал!..» Одновременно я — очевидец и участник описываемых событий — сознаю, конечно, что не дано мне большего права на истину, чем исследователю, который специально анализировал мою работу и работу моих коллег. Если оценки «стороннего наблюдателя» и данные им интерпретации кажутся «участникам событий» весьма спорными, то из этого вовсе не следует, что последние правы. Кто же из историков не знает поговорки, повторяемой вслед за юристами: «Врет, как очевидец!» Быть участником событий — не значит видеть общую картину, не значит иметь более точное описание происшедшего и тем более не означает, что «включенность» в события позволяет более правильно их проанализировать.

Признавая, таким образом, относительность своей позиции и ни в коем случае не претендуя на полноту картины, я все же рискну поделиться «встречным потоком» своих воспоминаний, наблюдений и размышлений, касающихся тех проблем историко-научных и науковедческих исследований, о которых пишет А. Монджили. Это прежде всего размышления о парадигмах — явных и неявных, которые определили сложившийся к концу 80-х гг. фронт наших историко-научных исследований и породили осознание необходимости новых подходов; это — наблюдения над тем, как работало наше научное сообщество (на фоне других и в контрасте с ними); это — воспоминания о том, какие идеи направляли поиск ответа на всегда открытый вопрос (обращенный, кстати, всегда к себе!), как должно работать сообщество историков науки, чтобы быть эффективным и порождать результаты исключительно высокого научного качества?

### Истоки романтических порывов

Наш «сторонний наблюдатель» прежде всего сетует на то, что наблюдать научную активность в рамках самого Института достаточно сложно: «исследования ведутся по традиционной модели гуманитарных наук... Перед наблюдателем институт предстает скорее как место многочисленных коммуникаций, использования языковых или других знаковых систем, чем как место научного производства». Действительно, ИИЕТ не проводит экспериментов или мощных машинных расчетов, а значит, и не оставляет зримых следов своего «научного производства». «Лабораторную жизнь» историка науки наблюдать и описывать, вероятно, труднее, чем работу биохимической лаборатории, на которой отработывала свои методики этнометодология и социология знания (примером таких описаний могут служить «Лабораторная жизнь» Латура и Вулгара или «Открывая ящик Пандоры» Гилберта и Малкея). История науки, бесспорно, — гуманитарная дисциплина. Но уже эту простую и, казалось бы, очевидную оценку ситуации мне хочется несколько скорректировать.

«Романтический образ научной работы», как подчеркивает А. Монджили, характерен для

многих сотрудников ИИЕТ. Между тем в становлении этого романтического образа были некие подспудные течения, которые наш наблюдатель, конечно, проследить не мог, а они исторически очень важны. Хочу обратить внимание на два обстоятельства.

Первое. Большинство наших историков науки, как подчеркивает и сам автор, получили образование в области естественных наук. Факт бесспорный и важный. «В советских университетах не существует специализации по истории, философии или социологии науки... Отсутствие основательной гуманитарной подготовки приводит к недостатку профессионализма...», — комментирует А. Монджили. Да, бесспорно, пришедшему из естественных наук молодому человеку отнюдь не легко дается переход в иную — гуманитарную — область. Он должен стать историком (а его знания по этой части крайне разрозненны и поверхностны); он должен разбираться в философии науки (хорошо, правда, что к концу 80-х гг. у нас была сильная и активно действующая группа исследователей в этой области); он должен где-то получить подготовку в сфере социологии и экономики науки, психологии научного творчества... Всю нужную сумму знаний приходится усваивать на ходу, «с колес», проглядывая какие-то книги, но в основном — из общения. Добавим, что сама подготовка диссертации — как это было принято у нас тогда и остается в качестве общей нормы до сегодняшнего дня — требует владения научными знаниями и идеями на уровне современной научной картины мира. Ведь историк биологии получит степень кандидата биологических наук, историк физики — физико-математических и т. п. По существующим стандартам ВАКА история естественных наук — неотъемлемая часть естествознания. Историк естествознания вовсе не должен порывать со своей исходной специальностью, иначе он, быть может, станет историком, социологом, философом, но никак не историком науки...

Вся это необычайно сложная для становления профессионального историка науки ситуация придавала нам какой-то романтический ореол в собственных глазах. Сознание трудности и редкости своей профессии давало ощущение некой элитарности, и, если угодно, избранности. Быть настоящим историком науки — это в какой-то степени дерзость, это принятие высокого уровня притязаний, если хотите — амбиций. Помимо перечисленного выше, надо еще просто знать иностранные языки, и не только современные европейские, но — латынь, греческий, арабский, санскрит... Это тоже элемент профессии. Живые примеры того, что это все-таки возможно, были: Василий Павлович Зубов, Иван Дмитриевич Рожанский, Адольф Павлович Юшкевич... Да и не только они! Один из молодых исследователей, посвятивших себя изучению истории древнекитайской математики, говорил: «Наша специальность — какое-то недоразумение. Это слишком сложно. Ее просто не может быть. Это похоже на признание существования дракона с крыльями — ужасно неудачное с точки зрения земных условий существования существо: огромное тело пресмыкающегося, возглавлявшего летать. Невозможное дело по законам эволюции. Но — летает! Вымрет, конечно, при первой возможности...» Мы пошучивали над этим «Я-образом» нашей специальности, над собственным выбором — и одновременно искренне гордились им.

Если бы подготовка историков науки была массовой и, следовательно, стандартизированной, боюсь, «романтического порыва», было бы гораздо меньше. Строго говоря, в нашей области трудно мечтать о высоких чинах и званиях, нет здесь размаха для серьезного честолюбия, и это с самого начала отсеивает тех, кто ищет в научных занятиях только подъема по «социальной лестнице». Этого не учитывает и не обсуждает А. Монджили, не отличаясь в данном случае изощренностью психологического анализа. Однако и его поражает доминирование в достаточно нелегкой тогда идеологической ситуации высоких стандартов интеллигентности, явное влияние «настоящих ученых» на молодежь, часто встречающееся подчеркивание интереса к «чистой науке», а не к научной карьере.

Хотелось бы обратить внимание и на второе обстоятельство, многое проясняющее в традициях институтской жизни, — атмосферу наших бесконечных дискуссий в секторах, на семинарах, научных школах. «Научная жизнь в ИИЕТ предстает перед наблюдателем как бесконечные методологические дебаты, начиная с точного употребления терминов, — пишет А. Монджили. — Интерес сосредоточен в основном на определении позиций, а не на "фактах"; наиболее острой считается не проблема интерпретации феноменов в свете определенной теории, а проблема стройности и элегантности самой теории». (Как участнику событий мне хочется воскликнуть: «Ах, если бы было так! Вот высокая и лестная — боюсь, незаслуженно — оценка! Не так уж много было "теорий", не так уж стройны они получались...»)

«Методологическую одержимость», отмеченную нашим наблюдателем, он связывает с тем влиянием на интеллектуальную среду московской интеллигенции, которое оказывал через свои семинары Георгий Петрович Щедровицкий (1929—1994). Сотрудники ИИЕТ, конечно, знают, что никаких специальных семинаров в Институте Щедровицкий не вел. Речь могла идти о двух-трех докладах, которые его приглашали сделать в разное время по тем или иным научным проблемам. Когда-то в конце 60-х гг. заведующий сектором общих проблем

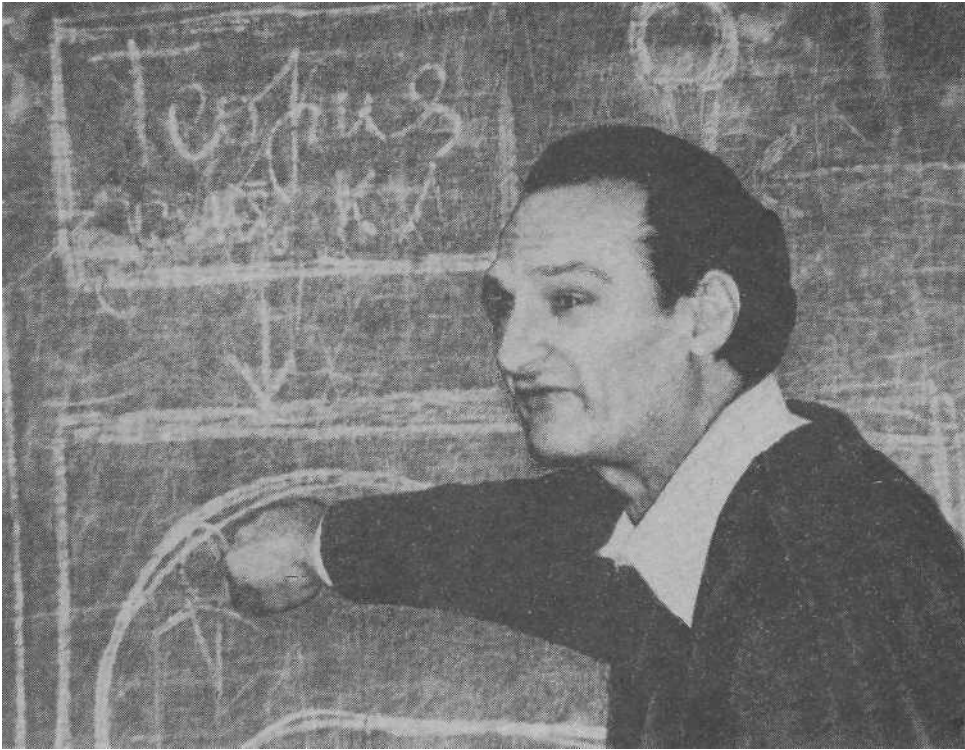




*Выступает Владимир Соломонович Библер. Школа молодых философов в г. Пушкино (Московская обл.), 1981 г. Один из «учителей» (второй слева) — известный историк-медиевист Леонид Михайлович Баткин. Фото предоставлено С. Б. Шапошником.*

Н. И. Родный, действительно, мечтал принять на работу в сектор этого выдающегося человека, но из этого замысла ничего не вышло. Однако так называемые «щедровитяне» в Институте были, и среди них — такие, как Никита Глебович Алексеев и его аспирант в те годы И. Н. Семенов (сектор психологии научного творчества), Игорь Серафимович Алексеев (1935—1988), занимавшийся историей и методологией физики, друзья и до поры до времени единомышленники Щедровицкого Э. Г. Юдин (1930—1976), В. Н. Садовский, И. В. Блауберг (1929—1990) (сектор системного анализа науки). К числу постоянных участников Московского Методологического Кружка (ММК) относилась и я. Сектор наиболее философский — сектор общих проблем — был, скорее, в интеллектуальной оппозиции к щедровитянскому подходу, тогдашние его сотрудники были по преимуществу «библирианцами», т.е. участниками домашних семинаров Владимира Соломоновича Библера — другого выдающегося интеллектуального лидера, который достаточно долго проработал в ИИЕТ. Каким образом в 1989 г. А. Монджили узрел «тень» Георгия Петровича в нашем Институте — довольно загадочно, так как к тому моменту никаких в серьезном смысле слова «щедровитян» в ИИЕТ уже не сохранилось. Даже я — когда-то преданнейший адепт ММК — уже работала в рамках других идей. Однако в атмосфере страстных обсуждений общих вопросов, действительно, сказывалось влияние темперамента наших неформальных лидеров. Участники дискуссий привыкли к этой атмосфере и поддерживали ее, считая необходимым элементом работы.

И здесь я должна вспомнить одну легенду, которая была очень значимой для тех гуманитариев, кто в 60-е гг. пришел работать в кружок Г. П. Щедровицкого (Московский Методологический Кружок). Георгий Петрович был по исходному образованию физиком; он учился на физфаке МГУ в первый послевоенный период, в атмосфере всеобщего общественного признания «физиков» (в противовес «лирикам»). Будучи студентом уже 4 курса, явно подающим надежды на поступление в аспирантуру, он тем не менее увлекся Марксом и стал основное время посвящать размышлениям о гносеологии. Надо сказать, что молодежь той поры привлекали не столько грандиозные социальные проекты марксизма, сколько знаменитый так называемый «Четвертый Тезис о Фейербахе», который, как тогда мыслилось, формулирует новую программу гносеологических исследований. Рассказывают, что это неожиданное увлечение тяжело переживал отец Георгия Петровича, который буквально умолял его если не остаться физиком, то хотя бы закончить образование на физфаке. Однако Г. П. был тверд в своем решении и добился перевода на философский факультет. Попав туда, он ужаснулся тем предметам, которые пришлось изучать, и всей атмосфере, в которой приходилось постигать мудрейшую из наук. Однако воспоминание о физике не оставляло его, и он решил, что «оздоровление» отечественной философии требует перенесения нормативов работы из естественных наук в гуманитарную сферу. «Работать в гносеологии так, как работают физики!» — что это конкретно могло значить? Прежде всего — соблюдение строгих правил мыш-

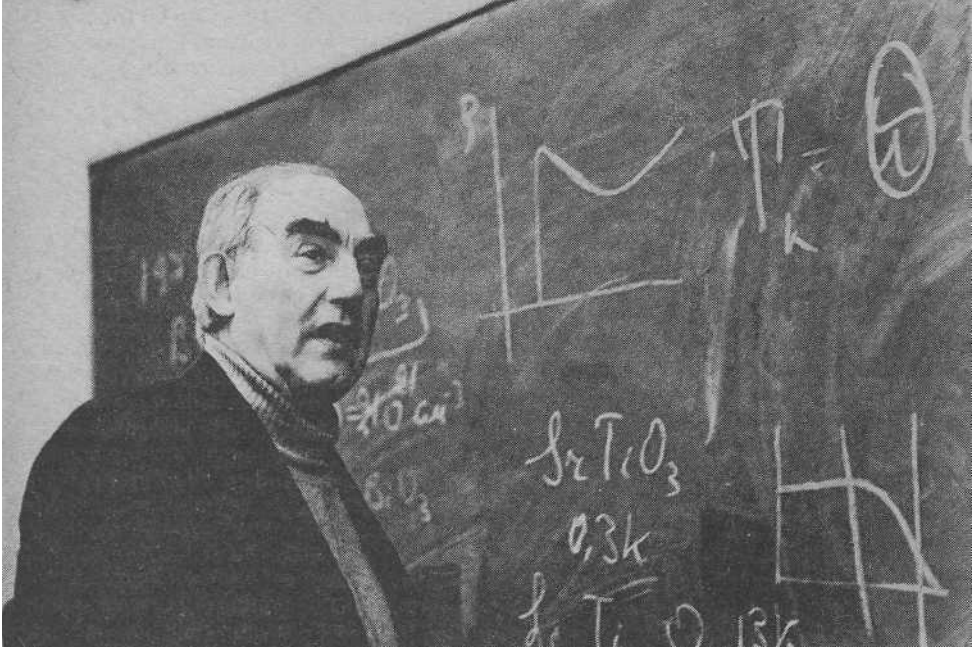


*Выступает Георгий Петрович Щедровицкий. Школа-семинар по теории классификации, г. Борок, 1979 г. Фото из семейного архива Н. И. Кузнецовой*

ления, внимание к фактам, работа под тяжелым «давлением» эмпирического материала. Человек, желавший строить «теорию мышления» (теорию познания), должен был искать эмпирию, факты и анализировать их.

Такая установка требовала, чтобы гносеологические концепции опирались, в частности, на факты истории науки и, более того, придавала историко-научному материалу функции «пробного камня» для всех умозрительных или спекулятивных концепций (позднее эту мысль четко выразил Имре Лакатос, что привело в восторг всех работавших в ММК и не по своей воле бывших в изоляции от внешнего мира). Для того домашнего семинара, который в конце 60-х гг. интенсивно работал в квартире Щедровицкого, ориентация на общенаучные нормативы мышления, на «физиков», была четко предъявляемым требованием, методологической нормой. Жесткость критики, которой подвергали докладчика, была необходима для того, чтобы «гуманитарии» научились работать, отделяя шелуху слов и полет индивидуальной фантазии от содержания, которое может быть четко сформулировано, предъявлено для «интерсубъективной» критики, проверено фактами, в частности «контрпримерами», на изобретение которых была нацелена критикующая аудитория. Никто не роптал (вернее, тех, кто «роптал», безжалостно отсеивали): так — интеллектуально жестко — работают «физики», и поэтому им не стыдно перед человечеством за свои результаты. Такова была общая установка этого семинара.

Мы были, как выяснилось позднее, явными попперианцами, не знавшими тогда, в силу господствовавшего режима «железного занавеса», ничего о реальном существовании Карла Поппера. А когда вышел перевод книги И. Лакатоса «Доказательства и опровержения» (М., 1967), то не было у этой книги более благодарной читательской аудитории, чем та, «щедровитянская». Блистательный анализ истории доказательства одной стереометрической теоремы Эйлера поражае красотой метода — метода «рациональной реконструкции». В предисловии к изданию, правда, было сказано, что читатель должен воздержаться от позитивизма и конвенционализма, к которым его подталкивают автор и его учитель — Поппер, но сумеет найти в этом произведении «немало ярких доказательств тому, что математика в познании действительно идет по тому же диалектическому пути, что и другие науки» (с. 4). Однако кто же читает подобные предисловия? Мы не замечали его, как не замечали сотрудники ИИЕТ идеологических лозунгов Ленина, развешанных по институтским стенам. Мы читали



*Выступает Виталий Лазаревич Гинзбург.  
Фото предоставлено И. В. Дорман*

эту книгу необычайно серьезно, с карандашом в руках, пытались схематизировать метод, усвоили терминологию, от которой потом не отказывались, подражали — в своих публикациях, но главное — в нормативах ведения научных дискуссий.

И поэтому, справедливости ради, надо указать, что атмосфера дискуссий, характерная именно для физической аудитории, была тем подлинным «архетипом», который потом «разносили» щедровитяне в те области, куда пошли работать профессионально — в психологию, социологию, проектирование, философию и историю науки... Когда много лет спустя я попала на заседание семинара теоротдела ФИАНа, где председателем семинара был Виталий Лазаревич Гинзбург, то увидела до боли знакомую атмосферу жесткой критики доклада, к которой привыкла с юности в кружке Щедровицкого. Это было удивительно! Докладчик не успевал закончить какую-то математическую выкладку на доске, как с первых рядов доносились: «Вы уже ошиблись!»; «Тогда Вы не сможете учесть, что...» Аудитория работала, как настоящая интеллектуальная машина. Отвлечься от рассуждений, которые нам предъявляли, было невозможно, как от захватывающего триллера: гипотезы возникали и безжалостно уничтожались, контрпримеры — как глобальные, так и локальные — уязвляли стройное доказательство и сводили его на нет, от докладчика требовалось подлинное мужество, чтобы «увернуться» от непрерывно идущей интеллектуальной атаки зала, найти аргументы, защитить свою точку зрения... Зачем все это нужно? — спросит «непосвященный». Чтобы мыслить, чтобы строить подлинное знание — гласил ответ «посвященных». В нормативах работы физиков лежали истоки романтических порывов, возникали планы и оформлялись дерзкие притязания гуманитариев новой генерации.

### **Два вектора «методологической одержимости»**

В каждой научной дисциплине достаточно много рутинной работы: например, сбор и первичная обработка данных — будь то результаты серии стандартных экспериментов, сбор образцов почвенных срезов или остатков ископаемых растений, замеры разливов реки и глубины затопления во время половодья или антропологические измерения во время этнографических экспедиций. Все это должен уметь делать в соответствии со строгими методическими стандартами самый рядовой специалист. А какое огромное значение имеет унификация научной терминологии — скажем, в геологии, астрономии или биологических науках! Невозможно считать, что некто провел научное описание региона биологического вида или нового

астрономического объекта, если не соблюдены стандарты и правила. А в истории науки новичка просто поражало отсутствие всяких стандартов, даже на самых начальных и рутинных стадиях работы. Никто не знал правил издания историко-научных источников (правил археологии), никто не мог сформулировать правил интерпретации и анализа прочитанной литературы, никто не мог в точности указать, какая работа может быть квалифицирована как первоклассное исследование, а какая — как профессиональный брак... Конечно, аспирант мог иметь в качестве образца работы своего научного руководителя, — но и не более того.

Группу философов, которых вполне формально просили заниматься так называемыми «методологическими и общими вопросами историко-научных исследований», все это серьезно волновало. Опыт работы был уже большой, а осмысления — мало.

Именно эти, вполне творческие, а не идеологические, соображения стимулировали инициативу проведения серии семинаров по методологии, первый из которых состоялся в декабре 1973 г. в Обнинске, а потом раз в два года проходил в Звенигороде, в пансионате Академии наук. Хотя у истоков организации этих семинаров стояла дирекция ИИЕТ (точнее, вполне конкретный человек — С. Р. Микулинский, который и сам делал научные доклады и честно спорил с коллегами), никаких далеко идущих административных целей не преследовалось, и тем более — не выдвигалось планов «промывания мозгов» интеллигенции «единственно верной» методологией марксизма-ленинизма. Спектр тем для обсуждения был чрезвычайно широк, и участвовали в дискуссиях самые классные «по гамбургскому счету» профессионалы — как историки науки, так и философы. Симпозиумы были немногочисленными по количеству участников — до 50 человек, регламент заседаний очень строгий: доклад — 40 минут, тут же вопросы, потом сразу же обсуждение, где выступающий получал для реплики не более 5 минут. Каждый день обсуждалось три доклада, симпозиум обычно продолжался три дня. Заседали обязательно в зале с доской — что-то рисовали, пытались препарировать высказываемое содержание (безусловно, тень «физиков»!). Никому и в голову не приходило прогуляться во время заседания по лесу или в соседний монастырь: было слишком интересно. Все свободное время — общение и общение. Атмосфера была удивительно теплой и дружеской, но свободомыслие и терпимость — сочетались с «прессингом» профессиональной критики. Все, кто бывал там, хорошо это помнят. Царил полный сердечный союз философии науки и истории науки. Много шутили, смеялись, прямо после заседаний выпускали стенгазету «На вербалке», наполненную афоризмами и стихотворными пародиями на темы прослушанных докладов, сочиненными по преимуществу В. Л. Рабиновичем, Вик. П. Визгиным,



*Итоговое заседание школы молодых философов в Пушкино (1981 г.). Среди «учителей» — И. С. Алексеев, В. М. Межуев, А. П. Огурцов... «Заключительным аккордом» подобных заседаний обычно было совместное исполнение «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»  
Фото предоставлено С. Б. Шапошником*

А. В. Ахутиным. В 70-е гг. эти звенигородские симпозиумы считались самыми престижными и высокоинтеллектуальными, т.е. имели очень высокий неформальный статус. Первый обнинский симпозиум — неожиданный, яркий, как праздник, — придумал и провел Борис Семенович Грязнов (1929—1978). Трудно перечислить все, что обсуждалось в этой «методологической мастерской», но надо подчеркнуть, что «особую эпистемологическую традицию», о которой пишет (не очень, правда, ясно) А. Монджили, во многом создали эти симпозиумы — и как раз те лица, которых он перечисляет как высокозначимые фигуры и в конце 80-х гг., а именно — Б. С. Грязнов, В. Л. Рабинович, П. П. Гайденко, В. С. Степин, М. А. Розов, М. К. Мамардашвили...

При анализе содержания концепций и идей науковедения (равно как и нашей философии науки) «эпистемологический» подход, на мой взгляд, дает явные осечки. Анализа нашей своеобразной эпистемологической традиции просто нет («полное отсутствие средств анализа!» — было бы строго сказано на наших семинарах). Краткие аннотации, которые дает наш «сторонний наблюдатель», типа: «Б. С. Грязнов воспринял у Поппера и Лакатоса фундаментальную идею "рациональной реконструкции" науки, противостоящую "социологическому" подходу в духе Куна и Фейерабенда»; «историк П. П. Гайденко предложила пространный и интересный анализ "эволюции понятия науки", уводящий от близкого логиком определения науки»; «введенное В. С. Степиным понятие "научная картина мира" представляло собой плодотворное объединение идей исследовательской программы, теории систем и традиционной культурологии...» — напоминают мне написанные с большими претензиями рецензии об исполнении фортепьянного концерта, которые сообщают, что пианист, дирижер и оркестр активно использовали семь нот.

Другой вектор «методологической одержимости» был связан с тем, что ИИЕТ в силу специфики своих задач сложился как очень сложный междисциплинарный организм. Вот уж где можно было наблюдать теснейшее взаимодействие разных научных сообществ, с одной стороны, и всю гамму недоразумений и взаимонепонимания — с другой. В рамках сравнительно небольшого коллектива должны были ужиться «физики» и «лирики» — философы и социологи, психологи и экономисты. Даже в кругу нефилософствующих историков науки имелись определенные коммуникативные трудности между физиками и, скажем, географами, представителями фундаментальных наук и «технарями»... Наладить коммуникации в междисциплинарном коллективе, как правило, достается в качестве задачи методологам. Норберт Винер в своей интеллектуальной автобиографии «Я — математик», отмечает как особую заслугу кибернетики возможность установления общего языка для «разноязычных» в научном отношении профессионалов. Наши методологические семинары в Звенигороде создавали общий тезаурус, нужный не только философам, но и вполне конкретным историкам науки и техники, помогая создавать ощущение единства специальности и преодолевая исходную ограниченность сугубо дисциплинарной специализации. Разве можно считать подобные усилия красивой, но бесполезной «игрой в бисер»? Так что это направление «методологической одержимости» подпитывали сугубо земные, практические профессиональные задачи, что и следовало бы, на мой взгляд, отметить.

Факты, факты, конечно, надо анализировать факты! Но каждый факт можно зафиксировать только в контексте определенных теоретических предпосылок и более общих концептуальных презумпций исторической эпохи. Об этом говорили и говорили Б. С. Грязнов, П. П. Гайденко, В. С. Степин, М. А. Розов, М. К. Мамардашвили... Была нам знакома идея «пантеоретизма», которую страстно обсуждали на Западе, в частности по поводу трудов Т. Куна и П. Фейерабенда. И странно мне слышать, что сегодня западный исследователь, выросший, казалось бы, в атмосфере идейной и духовной свободы, считает, что эта проблема исчерпана или решена в пользу ведущей роли «фактов»...

## От «science of science» к «science studies»

Откуда вообще взялось представление А. Монджили о том, что науковедение — это какое-то особое «советское» предприятие, маргинальное научное направление, характерное для существовавшего тогда режима и идеологии, мне, строго говоря, непонятно. Это, мягко выражаясь, не соответствует реалиям. Скорее, справедливо говорить, что идея такого проекта «носилась в воздухе». В 1966 г. вышел сборник статей «Наука о науке» — перевод книги «*The science of science*», опубликованной в Лондоне в 1964 г. Мне-то кажется, что в самих поисках и попытках строить науковедение мы, как никогда, шли в ногу со временем и западным научным сообществом. В этом тоже ощущалось какое-то дыхание хрущевской «оттепели». По сути дела, идеи были общими, и речь шла только о появлении особого русскоязычного термина. В 1966 г. состоялся первый в СССР представительный симпозиум по науковедению (советско-польский симпозиум во Львове, о нем упоминает А. Монджили), который, по сути

дела, конституировал этот термин, дал ему широкое и признанное хождение. Но это было имя, давшее форму уже идущей работе, а не «предписывающее» ее.

Обещания наших науковедов во главе с С. Р. Микулинским разрабатывать «научно обоснованные» рекомендации для ЦК КПСС по управлению советской наукой и планированию научно-технического прогресса были, конечно, некоторой социальной мимикрией, которая, кстати говоря, была характерна вовсе не только для нашей социалистической страны. Но эти ожидаемые практические рекомендации подразумевали вполне обстоятельные «чистые» исследования, в том числе — развитие философии науки, социологии науки, экономики науки, менеджмента в области науки и т. п. Предмет, который собирались изучать науковеды, вовсе не был социальной фикцией, порожденной фантазиями властей на Старой площади. Никто не пытался идейно или методологически противопоставить западную «науку о науке» русскому «науковедению», по крайней мере в самом сообществе «науковедов». Поэтому я с удивлением читаю такие «откровения»: «Выбор русской кальки не был случайным: он отражал амбиции создателей науковедения, стремившихся отгородить свой подход от западного. В действительности (так! на наших семинарах вещать от лица *действительности* было строго-настроено запрещено. — Н. К.) науковедение переняло западные, а именно американские традиции в изучении науки, заимствуя многое у таких авторов, как Дерек де Солла Прайс, Дж. Бернал, Дж. Пельц и Ф. Эндрюс». Так и хочется спросить: а французские или немецкие науковеды ничего не почерпнули из этой американской копилки?.. Замечу также в скобках, что, упрекая наших философов-науковедов в том, что они проповедовали «апологетический» образ науки как сугубо автономного социального института, А. Монджили одновременно приписывает западной науке возможность иметь какую-то независимую аудиторию и необходимую автономию исследователя...(?!). Значит, думать, что наука автономна, — это утопия, а искать эту автономию и независимость в реальной западной науке — это здравый смысл? Странно как-то получается.

60—70-е гг. в СССР были для ученых нашей специальности более или менее благополучными в плане интеллектуальных поисков. Тяжело было в те годы думать об общих вопросах — истории и ближайшей судьбе нашей страны, гадать, сколько лет продлится еще мнимое благополучие социалистического строя. Но — «в мыслях своих я свободен...» Цензура в нашей области была, но во многом она была внешней и не проникала в залы наших обсуждений, не шла далее дежурных цитат в публикациях. Та дисциплина, которую называли «науковедением», конечно, пыталась отличить в ряду прочего социалистическую науку от буржуазной (см., например, следы этих безнадежных попыток в монографии «Основы науковедения», М., 1985), но, конечно, не в этом была ее исходная идейная матрица. В принципе это был вполне нормальный научный проект, исходящий из осознания, что сформировался довольно обширный массив информации о социальном институте, представляющем большую ценность в рамках современной цивилизации. Этот массив знаний требовал систематизации, с одной стороны, и, с другой стороны, — разработки методик, в соответствии с которыми эти знания можно было бы получать в нужном объеме. Думаю, что это довольно стандартная ситуация возникновения новых научных дисциплин, вовсе не специфическая и не особенная. Да, принципы систематизации были не совсем ясны, а методики (библиометрические, социологических опросов и т. п.) в нужной мере не сформировались или не были освоены. Но это уж, как говорится, дело наживное.

Мне представляется, что хоронить «науковедение» как негодный интеллектуальный проект было бы преждевременно и несерьезно. Да и какие есть на то основания? То, что проекты, замыслы и манифесты превращаются в процессе своих реализаций в нечто иное, чем первоначально предполагалось, — вполне естественно. Реальное русло многочисленных исследований науки, вероятно, не полностью соответствует исходным проектам, но нельзя отрицать и стимулирующую роль этих проектов. То, что трудно направлять это русло в рамках единого подхода, — тоже факт. Но ведь нельзя усомниться в реальности такой дисциплины, как «океанология», на том основании, что ее разделы так неоднородны по содержанию (гидрофизические, гидрохимические, гидробиологические, региональные и т. п. характеристики океана). Здравый смысл подсказал исследователям корректировку: единая, как мыслилось в исходе, «*science of science*» как бы трансформировалась сегодня в область «*science studies*». Мне лично кажется, что это — не последнее слово. Просто нет единой модели науки, которая могла бы «впитать» разнообразные, уже собранные знания. Здесь уж «теоретики» не доработали. Но это не значит, что эта модель не будет никогда построена.

Нет, история науковедения как история его идей пока не написана. Работа А. Монджили, пожалуй, и не ставила такую задачу. Ее «факты» — скорее, факты исторических судеб людей конкретного периода, но не факты когнитивной истории. Это очевидно. А судьбы научных программ, дисциплин, направлений — нечто не совпадающее с судьбами людей, их социальными траекториями.